

ВРЕМЯ ИДМБТ 38 1979



В ЭТОМ НОМЕРЕ:

- ЭМИГРАЦИЯ И СВОБОДА
 - "ОППОЗИЦИЯ ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА"
 - МЕРЕЖКОВСКИЙ, РЕМИЗОВ И ДРУГИЕ
 - РОССИЯ – КАК ОНА ЕСТЬ
 - ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ
- ОСКАРА РАБИНА

► *Виктор Польский.* Неизбежное гражданство или свобода выбора.
◄ *Андрей Седых.* Новые эмигранты в Америке.
Сергей Довлатов. В гору. ▲

ВРЕМЯ И МЫ

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ
ЖУРНАЛ
ЛИТЕРАТУРЫ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ

Пятый год издания

Выходит один раз в месяц

38 ФЕВРАЛЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ВРЕМЯ И МЫ"
1979

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

ФАИНА БААЗОВА	ЛЕВ ЛАРСКИЙ
ЛИЯ ВЛАДИМИРОВА	ДМИТРИЙ СЕГАЛ
ЕГОШУА А. ГИЛЬБОА	ЙОСЕФ ТЕКОА
ИЛЬЯ ГОЛЬДЕНФЕЛЬД	ДОРА ШТУРМАН
МИХАИЛ КАЛИК	ЕФИМ ЭТКИНД
ГАЛИНА КЕЛЛЕРМАН	

Зав.редакцией Марина МАЗИНА

Американское отделение журнала "Время и мы".
Эдуард Штейн (заведующий отделением), Евгений Рубин.

Адрес отделения: 35—05, 87 Str., Apt. 2-F Jackson Heights
N. Y. 11372. Т. (212) 476-38-02.

Представители журнала:

Англия	Александр Штротас Croft House, Top Flat 32 New Hey Road Rastrick, Brighou» W. Yorkshire HD6 3PZ ENGLAND.
Западный Берлин	Лотар Ролл Buschkrugallee 98. 1000 Berlin 47, t. 606-77-61
Канада	Юрий Лурьи 305 Robson Hall Winnipeg, Manitoba Canada R3t 2N2 t. (204) 474 9773
Франция	Ева Иоффе 43 rue Richard Lenoir, 75011 Paris t. 379-32-87
ФРГ	Арий Вернер Postfach 50 1968 5000 Koeln, 50 West Germany

OCR и вычитка — Давид Титиевский, май 2010 г.
Библиотека Александра Белоусенко

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Сергей ДОВЛАТОВ

В гору 5

Аркадий ЛЬВОВ

Досрочный экзамен 37

Юлия ТРОЛЛЬ

Три рассказа 62

ПОЭЗИЯ

Илья БОКШТЕЙН

Горнист на лампе 86

Елена ЩАПОВА

Немой укор 94

ПУБЛИЦИСТИКА, КРИТИКА

Андрей СЕДЫХ

Новые эмигранты в Америке 100

Виктор ПОЛЬСКИЙ

Неизбежное гражданство или свобода выбора 112

Наталья БЕЛИНKOVA

В доме с розовыми стеклами 120

ДИСКУССИОННАЯ ТРИБУНА

Нафтали ПРАТ

Сталинизм с человеческим лицом 131

Дора ШТУРМАН

"Оппозиция Ее Величества". 141

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

В.С. ЯНОВСКИЙ

Поля Елисейские 150

Хедрик СМИТ

Привилегированный класс 181

ВЕРНИСАЖ "ВРЕМЯ И МЫ"

Любовь и ненависть Оскара Рабина 212

Коротко об авторах 219



Сергей ДОВЛАТОВ

В ГОРУ

(из сборника "Компромисс")

У редактора Туронка лопнули штаны на заднице. Они лопнули без напряжения и треска, скорее — разошлись по шву. Такое негативное свойство импортной мягкой фланели.

Около двенадцати Туронок подошел к стойке учрежденческого бара. Люминесцентная голубизна редакторских кальсон явилась достоянием всех холуев, угодливо пропустивших его без очереди.

Сотрудники начали переглядываться...

Я рассказываю эту историю так подробно в силу двух обстоятельств. Во-первых, любое унижение начальства — большая радость для меня. Второе. Прореха на брюках Туронка имела определенное значение в моей судьбе...

Но вернемся к эпизоду у стойки.

Сотрудники начали переглядываться. Кто злорадно, кто сочувственно. Злорадствующие — искренне, сочувствующие — лицемерно. И тут, как всегда, появляется главный холуй, бескорыстный и вдохновенный. Холуй этот до того обожает начальство, что пугает его с родиной, эпохой, мирозданием...

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции.

Короче, появился Эдик Вагин.

В любой газетной редакции есть человек, который не хочет, не может и не должен писать. И не пишет годами. Все к этому привыкли и не удивляются. Тем более, что журналисты, подобные Вагину, неизменно утомлены и лихорадочно озабочены. Остряк Шаблинский называл это состояние — "вагинальным"...

Вагин постоянно спешил, здоровался отрывисто и нервно. Сперва я простодушно думал, что он — алкоголик. Есть среди бесчисленных модификаций похмелья и такая разновидность. Этокое мучительное бегство от дневного света. Вибрирующая подвижность беглеца, наступаемого муками совести...

Затем я узнал, что Вагин не пьет. А если человек не пьет и не работает — тут есть, о чем задуматься.

— Таинственный человек, — говорил я.

— Вагин — стукач, — объяснил мне Быковер, — что в этом таинственного?

...Контора размещалась тогда на улице Пикк. Строго напротив здания госбезопасности. (Ул. Пагари, 1.) Вагин бывал там ежедневно. Или почти ежедневно. Мы видели из окон, как он переходит улицу.

— У Вагина — свехурочные! — орал Шаблинский...

Впрочем, мы снова отвлеклись.

...Сотрудники начали переглядываться. Вагин мягко тронул редактора за плечо:

— Шеф... Непорядок в одежде...

И тут редактор сплоховал. Он поспешно схватился обеими руками за ширинку. Вернее... Ну, короче, за это место... Проделал то, что музыканты называют глоссандо. (Легкий пробег вдоль клавиатуры.) Убедился, что граница на замке. Побагровел:

— Найдите вашему юмору лучшее применение.

Развернулся и вышел, обдав подчиненных неоновым сиянием исподнего.

Затем состоялся короткий и весьма таинственный диалог.

К обескураженному Вагину подошел Шаблинский:

— Зря вылез, — сказал он, — так удобнее...

— Кому удобнее? — покосился Вагин.

— Тебе, естественно...

— Что удобнее?

— Да это самое...

— Нет, что удобнее?

— А то...

— Нет, что удобнее? Что удобнее? — раскричался Вагин. — Пусть скажет!

— Иди ты на хер! — помолчав, сказал Шаблинский.

— То-то же! — восторжествовал стукач...

Вагин был заурядный, неловкий стукач без размаха...

Не успел я его пожалеть, как меня вызвал редактор. Я немного встревожился. Только что подготовил материал на две-сти строк. Называется — "Папа выше солнца". О выставке детских рисунков. Чего ему надо, спрашивается? Да еще злополучная прореха на штанах. Может, редактор думает, что это я подстроил. Ведь был же подобный случай. Я готовил развернутую информацию о выставке декоративных собак. Редактор, любитель животных, приехал на казенной машине — взглянуть. И тут началась гроза. Туронок расстроился и говорит:

— С вами невозможно дело иметь...

— То есть, как это?

— Вечно какие-то непредвиденные обстоятельства...

Как будто я Зевс и нарочно подстроил грозу.

...Захожу в кабинет. Редактор прогуливается между гипсовым Лениным и стереоустановкой "Эстония".

Изображение Ленина — обязательная принадлежность всякого номенклатурного кабинета. Я знал единственное исключение, да и то частичное. У меня был приятель Авдеев. Ответственный секретарь молодежной газеты. У него был отец, провинциальный актер из Луганска. Годами играл Ленина в своем драмтеатре. Так Авдеев ловко вышел из положения. Укрепил над столом громадный фотоснимок — папа в роли Ильича. Вроде не придраться — как бы и Ленин, а все-таки — папа...

...Туронок все шагал между бюстом и радиолой. Вижу —

прореха на месте. Если можно так выразиться... Если у позора существует законное место...

Наконец редактор приступил:

— Знаете, Довлатов, у вас есть перо!

Молчу, от похвалы не розовею...

— Есть умение видеть, подмечать... Будем откровенны, культурный уровень русских журналистов в Эстонии, что называется, оставляет желать лучшего. Темпы идейного роста значительно, я бы сказал, опережают темпы культурного роста. Вспомните минувший актив. Кленский не знает, что такое синоним. Толстиков в передовой, заметьте, указывает: "...Коммунисты фабрики должны в ближайшие месяцы ликвидировать это недопустимое статус-кво..." Репецкий озаглавил сельскохозяйственную передовицу: "Яйца на экспорт!"... Как вам это нравится?

— Несколько интимно...

— Короче. Вы обладаете эрудицией, чувством юмора. У вас оригинальный стиль. Не хватает какой-то внутренней собранности, дисциплины... В общем, пора браться за дело. Выходить, как говорится, на простор большой журналистики. Тут есть одно любопытное соображение. Из Пайдеского района сообщают... Некая Пейпс дала рекордное количество молока...

— Пейпс — это корова?

— Пейпс — это доярка. Более того, депутат республиканского совета. У нее рекордные показатели. Может быть, двести литров, а может быть, две тысячи... Короче — много. Уточните в райкоме. Мы продумали следующую операцию. Доярка обращается с рапортом к товарищу Брежневу. Товарищ Брежнев ей отвечает, это будет согласовано. Нужно составить письмо товарищу Брежневу. Принять участие в церемониях. Отразить их в печати...

— Это же по сельскохозяйственному отделу.

— Поедете спецкором. Такое задание мы не можем доверить любому. Привычные газетные штампы здесь неуместны. Человечинка нужна, вы понимаете? В общем, надо действовать. Получите командировочные, и с Богом... Мы дадим телеграмму в райком...

На протяжении всего разговора я испытывал странное ощущение. Что-то в редакторе казалось мне необычным. И тут я осознал, что дело в прорехе. Она как бы уравнила нас. Устранила его номенклатурное превосходство. Поставила на одну доску. Я убедился, что мы похожи. Завербованные немолодые люди в одинаковых (я должен раскрыть эту маленькую тайну) голубых кальсонах. Я впервые испытал симпатию к Туронку. Я сказал:

— Генрих Францевич, у вас штаны порвались сзади.

Туронк спокойно подошел к огромному зеркалу, нагнулся, убедился и говорит:

— Голубчик, сделайте одолжение... Я дам нитки... У меня в сейфе... Не в службу, а в дружбу... Так, на скорую руку... Не обращаться же мне к Плюхиной...

Валя была редакционной секс-примой. С заученными, как у оперной певицы, фиоритурами в голосе. И с идиотской привычкой кусаться... Впрочем, мы снова отвлеклись...

— ...Не к Плюхиной же обращаться, — сказал редактор. Вот оно, думаю, твое подсознание.

— Сделайте, голубчик.

— В смысле — зашить?

— На скорую руку.

— Вообще-то я не умею...

— Да как сумеете...

Короче, зашил я ему брюки. Чего уж там...

Заглянул в лабораторию к Жбанкову.

— Собирайся, — говорю, — пошли.

— Момент, — оживился Жбанков, — иду. Только у меня всего сорок копеек. И Жора должен семьдесят...

— Да я не об этом. Работа есть.

— Работа? — протянул Жбанков.

— Тебе что, деньги не нужны?

— Нужны. Рубля четыре до аванса.

— Редактор предлагает командировку на три дня.

— Куда?

— В Пайде.

— О, воблы купим!

— Я же говорю — поехали.

Звоню по местному Туронку:

— Можно взять Жбанкова?

Редактор задумался:

— Вы и Жбанков — сочетание, прямо скажем, опасное.

Затем он что-то вспомнил и говорит:

— На вашу ответственность. И помните — задание серьезное.

...Так я пошел в гору. До этого был подобен советскому рублю. Все его любят и падать некуда. У доллара все иначе. Забрался на такую высоту и падает, падает...

Путешествие началось оригинально. А именно — Жбанков явился на вокзал совершенно трезвый. Я даже узнал его не сразу. В костюме, печальный такой...

Сели, закурили.

— Ты молодец, — говорю, — в форме.

— Понимаешь, решил тормознуться. А то уже полный завал. Все же семья, дети... Старшему уже четыре годика. Лера была в детском саду, так заведующая его одного и хвалила. Развитый, говорит, сообразительный, энергичный, занимается ономизмом... В батьку пошел... Такой, понимаешь, клоп, а ображает...

Над головой Жбанкова звякнула корреспондентская сумка — поезд тронулся.

— Как ты думаешь, — спросил Жбанков, — буфет работает?

— У тебя же есть.

— Откуда?

— Только что звякнуло,

— А может, это химикаты?

— Рассказывай...

— Вообще, конечно, есть. Но ты подумай. Мы будем на месте в шесть утра. Захотим опохмелиться. Что делать? Все закрыто. Вакуум. Глаз в пустыне...

— Нас же будет встречать секретарь райкома.

— С полбанкой, что ли? Он же не в курсе, что мы за люди.

— А кто тормознуться хотел?

— Я хотел, на время. А тут уже чуть ли не сутки прошли. Эпоха...

— Буфет-то работает, — говорю.

Мы шли по вагонам. В купейных было тихо. Бурые ковровые дорожки заглушали шаги. В общих приходилось беспрерывно извиняться, шагая через мешки, корзины с яблоками...

Раза два нас без злобы проводили матерком. Жбанков сказал:

— А выражаться, между прочим, не обязательно!

Тамбуры гудели от холодного ветра. В переходах, между тяжелыми дверьми с низкими алюминиевыми ручками, грохот усиливался.

Посетителей в ресторане было немного. У окна сидели два раскрасневшихся майора. Фуражки их лежали на столе. Один возбужденно говорил другому:

— Где линия отсчета, Витя? Необходима линия отсчета. А без линии отсчета, сам понимаешь...

Его собеседник возражал:

— Факт был? Был... А факт — он и есть факт... Перед фактом, как говорится, того...

В углу разместились еврейская семья. Красивая полная девочка заворачивала в угол скатерти чайную ложку. Мальчик постарше то и дело смотрел на часы. Мать и отец еле слышно переговаривались.

Мы расположились у стойки. Жбанков помолчал, а затем говорит:

— Серж, объясни мне, почему евреев ненавидят? Допустим, они Христа распяли. Это, конечно, зря. Но ведь сколько лет прошло... И потом, смотри. Евреи, евреи... Вагин — русский, Толстиков — русский. А они бы Христа не то что распяли. Они бы его живьем съели... Вот бы куда антисемитизм направить. На Толстикова с Вагиным. Я против таких, как они, страшный антисемитизм испытываю. А ты?

— Естественно.

— Вот бы на Толстикова антисемитизмом пойти! И вообще... На всех партийных...

— Да, — говорю, — это бы неплохо... Только не кричи.

— Но при том, обрати внимание... Видишь, четверо сидят, и не оборачивайся... Вроде бы натурально сидят, а что-то ме-

ня бесит. Наш бы сидел в блевотине — о'кей! Те два мудозвона у окна разоряются — нормально! А эти тихо сидят, но я почему-то злюсь. Может, потому, что живут хорошо. Так ведь и я бы жил не хуже. Если бы не водяра проклятая. Между прочим, куда хозяева задевались?..

Один майор говорил другому:

— Необходима шкала ценностей, Витя. Истинная шкала ценностей. Плюс точка отсчета. А без шкалы ценностей и точки отсчета, сам посудии...

Другой по-прежнему возражал:

— Есть факт, Коля! А факт — есть факт, как его ни поворачивай. Факт — это реальность, Коля! То есть — нечто фактическое...

Девочка со звоном уронила чайную ложку. Родители тихо произнесли что-то укоризненное. Мальчик взглянул на часы...

Возникла буфетчица с локонами цвета половой мастики. За ней — официант с подносом. Обслужил еврейскую семью.

— Конечно, — обиделся Жбанков, — евреи всегда первые...

Затем он подошел к стойке.

— Бутылочку водки, естественно... И чего-нибудь легонького, типа на брудершафт...

Мы чокнулись, выпили. Изредка поезд тормозил, Жбанков придерживал бутылку. Потом — вторую.

Наконец он возбудился, порозовел и стал довольно обременителен.

— Дед, — кричал он, — я же работаю с телевиком! Понимаешь, — с телевиком! Я художник от природы! А снимаю всякое фуфло. Рожи в объектив не помещаются. Снимал тут одного. Орденов — килограммов на восемь. Блестят, отсвечивают, как против солнца... Замудохался, ты себе не представляешь! А выписали шесть рублей за снимок! Шесть рублей! Сунулись бы к Айвазовскому, мол, рисуй нам бурлаков за шестерик... Я ведь художник...

Был уже первый час. Я с трудом отвел Жбанкова в купе. С величайшим трудом уложил. Протянул ему таблетку аспирина.

— Это яд? — спросил Жбанков и заплакал.

Я лег и повернулся к стене.

Проводник разбудил нас за десять минут до остановки.

— Спице, а мы Ыхью проехали, — недовольно выговорил он.

Жбанков неподвижно и долго смотрел в пространство.

Затем сказал:

— Когда проводники собираются вместе, один другому, наверное, говорит: "Все могу простить человеку. Но ежели кто спит, а мы Ыхью проезжаем — век тому не забуду..."

— Поднимайся, — говорю, — нас же будут встречать. Давай хоть рожи умоем.

— Сейчас бы чего-нибудь горячего, — размечтался Жбанков.

Я взял полотенце, достал зубную щетку и мыло. Вытащил бритву.

— Ты куда?

— Барана резать, — отвечаю, — ты же горячего хотел...

Когда я вернулся, Жбанков надевал ботинки. Завел было философский разговор: "Сколько же мы накануне выпили?"... Но я его прервал.

Мы уже подъезжали. За окном рисовался вокзальный пейзаж. Довоенное здание, плоские окна, наполненные светом часы...

Мы вышли на перрон, сырой и темный.

— Что-то я фанфар не слышу, — говорит Жбанков.

Но к нам уже спешил, призывно жестикулируя, высокий, делового облика, мужчина.

— Товарищи из редакции? — улыбаясь, поинтересовался он.

Мы назвали свои фамилии.

— Милости прошу.

Около уборной (интересно, почему архитектура вокзальных сортиров так напоминает шедевры Растрелли?) дежурила машина. Рядом топтался коренастый человек в плаще.

— Секретарь райкома — Лийвак, — представился он.

Тот, что нас встретил, оказался шофером. Оба говорили почти без акцента. Наверное, происходили из волосовских эстонцев...

— Первым делом — завтракать! — объявил Лийвак.

Жбанков заметно оживился.

— Так ведь закрыто, — притворно сказал он.

— Что-нибудь придумаем, — заверил секретарь райкома.

Небольшие эстонские города уютны и приветливы. Ранним утром Пайде казался совершенно вымершим, нарисованным. В сумраке дрожали голубые неоновые буквы.

— Как доехали? — спросил Лийвак.

— Отлично, — говорю.

— Устали?

— Нисколько.

— Ничего, отдохнете, позавтракаете...

Мы проехали центр с туберкулезной клиникой и желтым зданием райкома. Затем снова оказались в горизонтальном лабиринте тесных пригородных улиц. Два-три крутых поворота, и вот мы уже на шоссе. Слева — лес. Справа — плоский берег и мерцающая гладь воды.

— Куда это мы едем, — шепнул Жбанков, — может, у них там вырезвилровка?

— Подъезжаем, — как бы угадал его мысли Лийвак, — здесь у нас что-то вроде дома отдыха. С ограниченным кругом посетителей. Для гостей...

— Вот я и говорю, — обрадовался Жбанков.

Машина затормозила возле одноэтажной постройки на берегу. Белые дощатые стены, вызывающая оскомину рифленая крыша, гараж... Из трубы, оживляя картину, лениво поднимается дым. От двери к маленькой пристани ведут цементные ступени. У причала, слегка накренившись, белеет лезвие яхты.

— Ну вот, — сказал Лийвак, — знакомьтесь.

На пороге стояла молодая женщина лет тридцати в брезентовой куртке и джинсах. У нее было живое, приветливое, чуть обезьянье лицо, темные глаза и крупные ровные зубы.

— Белла Ткаченко, — представилась она, — второй секретарь райкома комсомола.

Я назвал свою фамилию.

— Фотохудожник Жбанков Михаил, — тихо воскликнул Жбанков и щелкнул стоптанными каблучками.

— Белла Константиновна — ваша хозяйка, — ласково проговорил Лийвак, — тут и отдохнете... Две спальни, кабинет, финская баня, гостиная... Есть спортивный инвентарь, небольшая библиотека... Все предусмотрено, сами увидите...

Затем он что-то сказал по-эстонски.

Белла кивнула и позвала:

— Эви, туле синне!

Тотчас появилась раскрасневшаяся, совсем молодая девочка в майке и шортах. Руки ее были в золе.

— Эви Саксон, — представил ее Лийвак, — корреспондент районной молодежной газеты.

Эви убрала руки за спину.

— Не буду вам мешать, — улыбнулся секретарь. — Программа в целом такова. Отдохнете, позавтракаете. К трем жду в райкоме. Отмечу ваши командировки. Познакомьтесь с героиней. Дадим вам необходимые сведения. К утру материал должен быть готов. А сейчас, прошу меня извинить, дела...

Секретарь райкома бодро сбежал по крыльцу. Через секунду заработал мотор.

Возникла неловкая пауза.

— Проходите, что же вы? — спохватилась Белла.

Мы зашли в гостиную. Напротив окна мерцал камин, украшенный зеленой фаянсовой плиткой. По углам стояли глубокие низкие кресла.

Нас провели в спальню. Две широких постели были накрыты клетчатыми верблюжьими одеялами. На тумбочке горел массивный багровый шандал, озаряя потолок колеблющимся розовым светом.

— Ваши апартаменты, — сказала Белла, — через двадцать минут приходите завтракать.

Жбанков осторожно присел на кровать. Почему-то снял ботинки. Заговорил с испугом:

— Серж, куда это мы попали?

— А что? Просто идем в гору.

— В каком смысле?

— Получили ответственное задание.

— Ты обратил внимание, какие девки? Потрясающие дев-

ки! Я таких даже в ГУМе не видел. Тебе какая больше нравится?

— Обе ничего...

— А может, это провокация?

— То есть?

— Ты ее, понимаешь, хоп...

— Ну.

— А тебя за это дело в ментовку!

— Зачем же сразу — хоп. Отдыхай, беседуй...

— Что значит — беседуй?

— Беседа — это когда разговаривают.

— А-а, — сказал Жбанков.

Он вдруг стал на четвереньки и заглянул под кровать. Затем долго и недоверчиво разглядывал штепсельную розетку.

— Ты чего? — спрашиваю.

— Микрофон ищу. Тут натурально должен быть микрофон. Подслушивающее устройство. Мне знакомый алкаш рассказывал...

— Потом найдешь. Завтракать пора.

Мы наскоро умылись. Жбанков переодел сорочку.

— Как ты думаешь, — спросил он, — выставить полбанки?

— Не спеши, — говорю, — тут, видно, есть. К тому же сегодня надо быть в райкоме.

— Я же не говорю — упиться в драбадан. Так, на брудершафт...

— Не спеши, — говорю.

— И еще вот что, — попросил Жбанков, — ты слишком умных разговоров не заводи. Другой раз бухнете с Шаблинским, а потом целый вечер: "Ипостась, ипостась..." Ты уж что-нибудь полегче... Типа — Сергей Есенин, армянское радио...

— Ладно, — говорю, — пошли.

Стол был накрыт в гостиной. Стандартный ассортимент распределителя ЦК: дорогая колбаса, икра, тунец, зефир в шоколаде.

Девушки переоделись в светлые кофточки и модельные туфли.

— Присаживайтесь, — сказала Белла.

Эви взяла поднос.

— Хотите выпить?

— А как же?! — сказал мой друг, — иначе не по-христиански.

Эви принесла несколько бутылок.

— Коньяк, джин с тоником, вино — предложила Белла.

Жбанков вдруг напрягся и говорит:

— Пардон, я этот коньяк знаю... Называется КВН... Или НКВД...

— КВВК, — поправила Белла.

— Один черт... Цена шестнадцать двадцать... Уж лучше три бутылки водяры на эту сумму.

— Не волнуйтесь, — успокоила Белла.

А Эви спросила:

— Вы — алкоголик?

— Да, — четко ответил Жбанков, — но в меру...

Я разлил коньяк.

— За встречу, — говорю.

— За приятную встречу, — добавила Белла.

— Поехали, — сказал Жбанков.

Воцарилась тишина, заглушаемая стуком ножей и вилок.

— Расскажите что-нибудь интересное, — попросила Эви.

Жбанков закурил и начал:

— Жизнь, девчата, в сущности — калейдоскоп. Сегодня — одно, завтра — другое. Сегодня — поддаешь, а завтра, глядишь, и копыта отбросил... Помнишь, Серж, какая у нас лажа вышла с трупами?

Белла подалась вперед:

— Расскажите.

— Помер завхоз телестудии — Ильвес. А может, директор, не помню. Ну, помер и помер... И правильно в общем-то сделал... Хороним его, как положено... Мужики с телестудии приехали. Трансляция идет... Речи, естественно... Начали прощаться. Подхожу к этому самому делу и вижу — не Ильвес... Что я, Ильвеса не знаю?.. Я его сто раз фотографировал. А в гробу лежит посторонний мужик...

— Живой? — спросила Белла.

— Почему живой? Естественно мертвый, как положено. Только не Ильвес. Оказывается, трупы в морге перепутали...

— Чем же все это кончилось? — спросила Белла.

— Тем и кончилось. Похоронили чужого мужика. Не прерывать же трансляцию. А ночью поменяли гробы... И вообще, какая разница?! Суть одна, только разные... как бы это выразиться?

— Ипостаси, — подсказал я.

Жбанков погрозил мне кулаком.

— Кошмар, — сказала Белла.

— Еще не то бывает, — воодушевился Жбанков, — я расскажу, как один повесился... Только выпьем сначала.

Я разлил остатки коньяка. Эви прикрыла рюмку ладонью.

— Уже пьяная.

— Никаких! — сказал Жбанков.

Девушки тоже закурили. Жбанков дождался тишины и продолжал:

— А как один повесился — это чистая хохма. Мужик по-черному гудел. Жена, естественно, пилит с утра до ночи. И вот он решил повеситься. Не совсем, а фиктивно. Короче — завернуть поганку. Жена пошла на работу. А он подтяжками за люстру уцепился и висит. Слышит — шаги. Жена с работы возвращается. Мужик глаза закатил. Для понта, естественно. А это была не жена. Соседка лет восьмидесяти, по делу. Заходит — висит мужик...

— Ужас, — сказала Белла.

— Старуха железная оказалась. Не то, что в обморок... Подошла к мужику, стала карманы шмонать. А ему-то щекотно. Он и засмеялся. Тут старуха раз, и выключилась. И с концами. А он висит. Отцепиться не может. Приходит жена. Видит — такое дело. Бабка с концами и муж повесивши. Жена берет трубку, звонит: "Вася, у меня дома — тыща и одна ночь... Зато я теперь свободна. Приезжай..." А муж и говорит: "Я ему приеду... Я ему, пидору, глаз выколю..." Тут и жена отключилась. И тоже с концами...

— Ужас, — сказала Белла.

— Еще не такое бывает, — сказал Жбанков, — давайте выпьем!

— Баня готова, — сказала Эви.

— Это что же, раздеваться? — встревоженно спросил Жбанков, поправляя галстук.

— Естественно, — сказала Белла.

— Ногу, — говорю, — можешь отстегнуть.

— Какую ногу?

— Деревянную.

— Что? — закричал Жбанков.

Потом он нагнулся и высоко задрал обе штанины. Его могучие голубоватые икры были стянуты пестрыми немодными резинками.

— Я в футбол до сих пор играю, — не унимался Жбанков. — У нас там пустырь... Малолетки тренируются... Выйдешь, бывало, с похмелюги...

— Баня готова, — сказала Эви.

Мы оказались в предбаннике. На стенах висели экзотические плакаты. Девушки исчезли за ширмой.

— Ну, Серж, понеслась душа в рай! — бормотал Жбанков.

Он разделся быстро, по-солдатски. Остался в просторных сатиновых трусах. На груди его синела пороховая татуировка. Бутылка с рюмкой, женский профиль и червовый туз. А по середине — надпись славянской вязью: "Вот, что меня сгубило!"

— Пошли, — говорю.

В тесной, стилизованной под избу коробке было нестерпимо жарко. Термометр показывал девяносто градусов. Раскаленные доски пришлось окатить холодной водой.

На девушках были яркие современные купальники, по две узеньких волнующих тряпицы.

— Правила знаете? — улыбнулась Белла, — металлические вещи нужно снять. Может быть ожог...

— Какие вещи? — спросил Жбанков.

— Шпильки, заколки, булавки...

— А зубы? — спросил Жбанков.

— Зубы можно оставить, — улыбнулась Белла и добавила, — расскажите еще что-нибудь.

— Это — в момент. Я расскажу, как один свадьбу в дерьме утопил...

Девушки испуганно притихли.

— Дружок мой на ассенизационном грузовике работал. Выгребал это самое дело. И была у него подруга, шибко грамотная. "Запах, говорит, от тебя нехороший". А он-то, что может поделывать? "Зато, говорит, платят нормально". "Шел бы в такси", — она ему говорит. "А какие там заработки? С воробьиный пуп?"... Год проходит. Нашла она себе друга. Без запаха. А моему дружку говорит: "Все. Разлюбила. Кранты..." Он, конечно, переживает. А у тех — свадьба. Наняли общественную столовую, пьют, гуляют... Дело к ночи... Тут мой дружок разворачивается на своем говновозе, пардон... Форточку открыл, шланг туда засунул и врубил насос... А у него в цистерне тонны четыре этого самого добра... Гостям в аккурат по колено. Шум, крики, вот тебе и "Горько!"... Милиция приехала... Общественную столовую активировать пришлось. А дружок мой получил законный семерик... Такие дела...

Девушки сидели притихшие и несколько обескураженные. Я невыносимо страдал от жары. Жбанков пребывал на вершине блаженства.

Мне все это стало надоедать. Алкоголь постепенно испарился. Я заметил, что Эви поглядывает на меня. Не то с испугом, не то с уважением. Жбанков что-то горячо шептал Белле Константиновне.

— Давно в газете? — спрашиваю.

— Давно, — сказала Эви, — четыре месяца.

— Нравится?

— Да, очень нравится.

— А раньше?

— Что?

— Где ты до этого работала?

— Я не работала. Училась в школе.

У нее был детский рот и пушистая челка. Высказывалась она поспешно, добросовестно, слегка задыхаясь. Говорила с шершавым эстонским акцентом. Иногда чуть коверкала русские слова.

— Чего тебя в газету потянуло?

— А что?

— Много врать приходится.

— Нет. Я делаю корректуру. Сама еще не пишу. Писала статью, говорят — нехорошо...

— О чем?

— О сексе.

— О чем?!

— О сексе. Это важная тема. Надо специальные журналы и книги. Люди все равно делают секс, только много неправильное...

— А ты знаешь, как правильно?

— Да. Я ходила замуж.

— Где же твой муж?

— Утонул. Выпил коньяк и утонул. Он изучался в Тарту по химии.

— Прости, — говорю.

— Я читала много твои статьи. Очень много смешное. И очень часто многоточки... Сплошные многоточки... Я бы хотела работать в Таллине. Здесь очень маленькая газета...

— Это еще впереди.

— Я знаю, что ты сказал про газету. Многие пишут не то самое, что есть. Я так не люблю.

— А что ты любишь?

— Я люблю стихи, люблю битлз... Сказать, что еще?

— Скажи.

— Я немного люблю тебя.

Мне показалось, что я ослышался. Чересчур это было неожиданно. Вот уж не думал, что меня так легко смутить...

— Ты очень красивый!

— В каком смысле?

— Ты — копия Омар Шариф.

— Кто такой Омар Шариф?

— О, Шариф! Это — прима!..

Жбанков неожиданно встал. Потянул на себя дверь. Неуклюже и стремительно ринулся по цементной лестнице к воде. На секунду замер. Взмахнул руками. Произвел звериный неприличный вопль и рухнул...

Поднялся фонтан муаровых брызг. Со дна потревоженной реки всплыли какие-то банки, коряги и мусор.

Секунды три его не было видно. Затем вынырнула черная непутевая голова с безумными, как у месячного щенка глазами. Жбанков, шатаясь, выбрался на берег. Его худые чресла были скульптурно облеплены длинными армейскими трусами.

Дважды обежав вокруг коттеджа с песней "Любо, братцы, любо!", Жбанков уселся на полку и закурил.

— Ну, как? - спросила Белла.

— Нормально, — ответил фотограф, гулко хлопнув себя резинкой по животу.

— А вы? — спросила Белла, обращаясь ко мне.

— Предпочитаю душ.

В соседнем помещении имелась душевая кабина. Я умылся и стал одеваться.

"Семнадцатилетняя провинциальная дурочка, твердил я, выпила три рюмки коньяка и ошалела..."

Я пошел в гостиную, налил себе джина с тоником.

Снаружи доносились крики и плеск воды.

Скоро появилась Эви, раскрасневшаяся, в мокром купальнике.

— Ты злой на меня?

— Нисколько.

— Я вижу... Дай, я тебя поцелую...

Тут я снова растерялся. И это при моем жизненном опыте...

— Нехорошую игру ты затеяла, — говорю.

— Я тебя не обманываю.

— Но мы завтра уезжаем.

— Ты будешь снова приходиться...

Я шагнул к ней. Попробуйте оставаться благоразумным, если рядом семнадцатилетняя девчонка, которая только что вылезла из моря. Вернее, из реки...

— Ну, что ты? Что ты? — спрашиваю.

— Так всегда целуется Джуди Гарланд, — сказала Эви. — И еще она делает так...

Поразительно устроен человек! Или я один такой?! Знаешь,

что вранье, примитивное райкомовское вранье, и липа, да еще с голливудским налетом — все знаешь, и счастлив, как мальчишка...

У Эви были острые лопатки, а позвоночник из холодных морских камешков... Она тихо вскрикивала и дрожала... Хрупкая пестрая бабочка в неплотно сжатом кулаке...

Тут раздалось оглушительное:

— Пардон!

В дверях маячил Жбанков. Я отпустил Эви.

Он поставил на стол бутылку водки. Очевидно, пустил в ход свой резерв.

— Уже первый час, — сказал я, — нас ждут в райкоме.

— Какой ты сознательный, — усмехнулся Жбанков.

Эви пошла одеваться. Белла Константиновна тоже переоделась. Теперь на ней был строгий, отчетно-перевыборный костюмчик.

И тут я подумал, ох, если бы не этот райком, не эта взбесившаяся корова!.. Жить бы тут и никаких ответственных заданий... Яхта, речка, молодые барышни... Пусть лгут, кокетничают, изображают уцененных голливудских звезд... Какое это счастье — женское притворство!.. Да, может, я ради таких вещей на свет произошел!.. Мне тридцать четыре года, и ни одного, ни единого беззаботного дня... Хотя бы день пожить без мыслей, без забот и без тоски... Нет, собирайся в райком... Это, где часы, портреты, коридоры, бесконечная игра в серьезность...

— Люди! У меня открылось второе дыхание! — заявил Жбанков.

Я разлил водку. Себе — полный фужер. Эви коснулась моего рукава:

— Теперь не выпей... Потом...

— А, ладно!

— Тебя ждет Лийвак.

— Все будет хорошо.

— Что значит — будет? — рассердился Жбанков, — все уже хорошо! У меня открылось второе дыхание! Поехали!

Белла включила приемник. Низкий баритон выкрикивал что-то мучительно актуальное:

**Истины нет в этом мире бушующем,
Есть только миг, за него и держись...
Есть только свет между прошлым и будущим,
Именно он называется — жизнь!**

Мы пили снова и снова. Эви сидела на полу возле моего кресла. Жбанков разглагольствовал, то и дело отлучаясь в уборную. Каждый раз он изысканно вопрошал: "Могу ли я ознакомиться с планировкой?" Неизменно добавляя: "В смысле — отлить..."

И вдруг я понял, что упустил момент, когда нужно было остановиться. Появились обманчивая легкость и кураж. Возникло ощущение силы и безнаказанности.

— В гробу я видел этот райком! Мишка, наливай!

Тут инициативу взяла Белла Константиновна:

— Мальчики, отделаемся, а потом... Я вызову машину. И ушла звонить по телефону.

Я сунул голову под кран. Эви вытащила пудреницу и говорит: "Не можно смотреть".

Через двадцать минут наше такси подъехало к зданию райкома. Жбанков всю дорогу пел:

**Не хочу с тобою говорить,
Не пори ты, Маня, ахиною...
Лучше я уйду к ребятам пить,
Эх, у ребят есть мысли поважнее..**

Вероятно, таинственная Маня олицетворяла райком и партийные сферы...

Эви гладила мою руку и шептала с акцентом волнующие непристойности. Белла Константиновна выглядела строго.

Она повела нас широкими райкомовскими коридорами. С ней то и дело здоровались.

На первом этаже возвышался бронзовый Ленин. На втором — тоже бронзовый Ленин, поменьше. На третьем — Карл Маркс с похоронным венком бороды.

— Интересно, кто на четвертом дежурит? — спросил, ухмыляясь, Жбанков.

Там снова оказался Ленин, но уже из гипса...

— Подождите минутку, — сказала Белла Константиновна. Мы сели. Жбанков погрузился в глубокое кресло. Ноги его

в изношенных скороходовских ботинках достигали центра приемной залы. Эви несколько умерила свой пыл. Уж чересчур ее призывы шли вразрез с материалами наглядной агитации.

Белла приоткрыла дверь:

— Заходите.

Лийвак говорил по телефону. Свободная рука его призывно и ободряюще жестикулировала.

Наконец он повесил трубку.

— Отдохнули?

— Лично я — да, — веско сказал Жбанков. — У меня открылось второе дыхание...

— Вот и отлично. Поедете на ферму.

— Это еще зачем?! — воскликнул Жбанков, — ах, да...

— Вот данные относительно Линды Пейпс... Трудовые показатели... Краткая биография... Свидетельства о поощрениях... Где ваши командировочные? Штатпы поставите внизу... Теперь, если вечер свободный, можно куда-то пойти... Драмтеатр, правда, — на эстонском языке. Сад отдыха... В "Интуристе" бар до часу ночи... Белла Константиновна, организуйте товарищам маленькую экскурсию...

— Можно откровенно? — Жбанков поднял руку.

— Прошу вас, — кивнул Лийвак.

— Здесь же все свои.

— Ну, разумеется.

— Так уж я начистоту, по-флотски?

— Слушаю.

Жбанков шагнул вперед, конспиративно понизил голос:

— Вот бы на кир перевести!

— То есть? — не понял Лийвак.

— Вот бы, говорю, на кир перевести!

Лийвак растерянно поглядел на меня. Я потянул Жбанкова за рукав. Тот шагнул в сторону и продолжал:

— В смысле — энное количество водяры вместо драмтеатра! Я, конечно, дико извиняюсь...

Изумленный Лийвак повернулся к Белле. Белла Константиновна резко отчеканила:

— Товарищ Жбанков и товарищ Довлатов обеспечены всем необходимым.

— Очень много вина, — простодушно добавила Эви.

— Что значит — много!? — возразил Жбанков, — много — понятие относительное.

— Белла Константиновна, позаботьтесь, — распорядился секретарь.

— Вот это — по-флотски, — обрадовался Жбанков, — это — по-нашему!

Я решил вмешаться.

— Все ясно, — говорю, — данные у меня. Товарищ Жбанков сделает фотографии. Материал будет готов к десяти часам утра.

— Учтите, письмо должно быть личным...

Я кивнул.

— Но при этом его будет читать вся страна.

Я снова кивнул.

— Это должен быть рапорт...

Я кивнул в третий раз.

— Но рапорт самому близкому человеку...

Еще один кивок. Лийвак стоял рядом, я боялся обдать его винными парами. Кажется, все-таки обдал...

— И не увлекайтесь, товарищи, — попросил он, — не увлекайтесь. Дело очень серьезное. Так что, в меру...

— Хотите, я вас с Довлатовым запечатлею? — неожиданно предложил Жбанков, — мужики вы оба колоритные...

— Если можно, в следующий раз, — нетерпеливо отозвался Лийвак, — мы же завтра увидимся.

— Ладно, — согласился Жбанков, — тогда я вас запечатлею в более приличной обстановке...

Лийвак промолчал...

...Внизу нас ждала машина с утренним шофером.

— На ферму заедем, и все, — сказала Белла.

— Далекое это? — спрашиваю.

— Минут десять, — ответил шофер, — тут все близко.

— Хорошо бы по дороге врезку сделать, — шепнул Жбанков, — горячее на исходе.

И затем, обращаясь к водителю:

— Шеф, тормозни возле первого гастронома. Да, смотри, не продай!

— Мне-то какое дело, — обиделся шофер, — я сам вчера того.

— Так, может, за компанию?

— Я на работе... У меня дома приготовлено...

— Ладно. Дело хозяйское. Емкость у тебя найдется?

— А как же?!

Машина остановилась возле сельмага. У прилавка толпился народ. Жбанков, вытянув кулак с шестью рублями, энергично прокладывая себе дорогу.

— На самолет опаздываю, мужики... Такси, понимаешь, ждет... Ребенок болен... Жена, сука, рожает...

Через минуту он выплыл с двумя бутылками кагора.

Водитель протянул ему мутный стакан.

— Ну, за все о'кей!

— Наливай, — говорю, — и мне. Чего уж там!

— А кто будет фотографировать? — спросила Эви.

— Мишка все сделает. Работник он хороший.

И действительно, работал Жбанков превосходно. Сколько бы ни выпил. Хотя аппаратура у него была самая примитивная. Фотокорам раздали японские камеры, стоимостью чуть ли не пять тысяч. Жбанкову японской камеры не досталось. "Все равно пропьет", — заявил редактор. Жбанков фотографировал аппаратом "Смена" за девять рублей. Носил его в кармане, футляр был потерян. Проявитель использовал неделями. В нем плавали окурки. Фотографии же выходили четкие, непринужденные, по-газетному контрастные. Видно, было у него какое-то особое дарование...

Наконец мы подъехали к зданию дирекции, увешанному бесчисленными стендами. Над воротами алел транспарант: "Кость — ценное промышленное сырье!" У крыльца толпилось несколько человек. Водитель что-то спросил по-эстонски. Нам показали дорогу...

Коровник представлял собой довольно унылое низкое здание. Над входом горела пыльная лампочка, освещающая загаженные ступени.

Белла Константиновна, Жбанков и я вышли из машины. Водитель курил. Эви дремала на заднем сиденье.

Неожиданно появился хромой человек с кожаной офицерской сумкой.

— Главный агроном Савкин, — назвался он, — проходите.

Мы вошли. За дощатыми перегородками топтались коровы. Позвякивали колокольчики, раздавались тягостные вздохи и уютный шорох сена. Вялые животные томно оглядывали нас.

...Есть что-то жалкое в корове, принужденное и отталкивающее. В ее покорной безотказности, обжорстве и равнодушии. Хотя, казалось бы, и габариты, и рога... Обыкновенная курица, и та выглядит более независимо. А эта — чемодан, набитый говядиной и отрубями... Впрочем, я их совсем не знаю...

— Проходите, проходите...

Мы оказались в тесной комнатке. Пахло кислым молоком и навозом. Стол был покрыт голубой клеенкой. На перекрученном шнуре свисала лампа. Вдоль стен желтели фанерные ящики для одежды. В углу поблескивал доильный агрегат.

Навстречу поднялась средних лет женщина в зеленой кофте. На пологой груди ее мерцали ордена и значки.

— Линда Пейпс, — воскликнул Савкин.

Мы поздоровались.

— Я ухожу, — сказал главный агроном, — если что, звоните по местному — два, два, шесть...

Мы с трудом разместились. Жбанков достал из кармана фотоаппарат.

Линда Пейпс казалась немного растерянной.

— Она говорит только по-эстонски, — сказала Белла.

— Это не важно.

— Я переведу.

— Спроси ее чего-нибудь для понта, — шепнул мне Жбанков.

— Вот ты и спроси, — говорю.

Жбанков наклонился к Линде Пейпс и мрачно спросил:

— Который час?

— Переведите, — оттеснил я его, — как Линда добилась таких высоких результатов?

Белла перевела.

Доярка что-то испуганно прошептала.

— Записывайте, — сказала Белла, — коммунистическая партия и ее ленинский центральный комитет...

— Все ясно, — говорю, — узнайте, состоит ли она в партии?

— Состоит, — ответила Белла.

— Давно?

— Со вчерашнего дня.

— Момент, — сказал Жбанков, наводя фотоаппарат.

Линда замерла, устремив глаза в пространство.

— Порядок, — сказал Жбанков, — шестерик в кармане.

— А корова? — удивилась Белла.

— Что — корова?

— По-моему, их нужно сфотографировать рядом.

— Корова здесь не поместится, — разъяснил Жбанков, — а там освещение хреновое.

— Как же быть?

Жбанков засунул аппарат в карман.

— Коров в редакции навалом, — сказал он.

— То есть? — удивилась Белла.

— Я говорю, в архиве коров сколько угодно. Вырежу твою Линду и подклею.

Я тронул Беллу за рукав:

— Узнайте, семья большая?

Она заговорила по-эстонски. Через минуту перевела:

— Семья большая, трое детей. Старшая дочь кончает школу. Младшему сыну — четыре годика.

— А муж? — спрашиваю.

Белла понизила голос:

— Не записывайте... Муж их бросил.

— Наш человек! — почему-то обрадовался Жбанков.

— Ладно, — говорю, — пошли...

Мы попрощались. Линда проводила нас чуточку разочарованным взглядом. Ее старательно уложенные волосы поблескивали от лака.

Мы вышли на улицу. Шофер успел развернуться. Эви в замшевой курточке стояла у радиатора.

Жбанков вдруг слегка помешался.

— Кыйк, — заорал он по-эстонски, — все! Вперед, товарищи! К новым рубежам! К новым свершениям!

Через полчаса мы были у реки. Шофер сдержанно простился и уехал. Белла Константиновна подписала его наряд.

Вечер был теплый и ясный. За рекой багровел меркнувший край неба. На воде дрожали розовые блики.

В дом идти не хотелось. Мы спустились на пристань. Некоторое время молчали. Затем Эви спросила меня:

— Почему ты ехал в Эстонию?

Что я мог ответить? Объяснить, что нет у меня дома, родины, пристанища, жилья?.. Что я всегда искал эту тихую пристань?.. Что я прошу у жизни одного — сидеть вот так, молчать, не думать?..

— Снабжение, — говорю, — у вас хорошее. Ночные бары...

— А вы? — Белла повернулась к Жбанкову?..

— Я тут воевал, — сказал Жбанков, — ну и остался... Короче — оккупант...

— Сколько же вам лет?

— Не так уж много, сорок пять. Я самый конец войны застал, мальчишкой. Был вестовым у полковника Адера... Ранило меня...

— Расскажите, — попросила Белла, — вы так хорошо рассказываете.

— Что тут рассказывать? Долбануло осколком, и вся любовь... Ну что, пошли?

В доме зазвонил телефон.

— Минутку, — воскликнула Белла, на ходу доставая ключи. Она скоро вернулась.

— Юхан Оскарович просит вас к телефону.

— Кто? — спрашиваю.

— Лийвак...

Мы зашли в дом. Щелкнул выключатель — окна стали темными. Я поднял трубку.

— Мы получили ответ, — сказал Лийвак.

— От кого? — не понял я.

— От товарища Брежнева.

— То есть — как? Ведь письмо еще не отправлено.

— Ну и что? Значит, референты Брежнева чуточку оперативнее вас... нас, — деликатно поправился Лийвак.

— Что же пишет товарищ Брежнев?

— Поздравляет... Благодарит за достигнутые успехи... Желает личного счастья...

— Как быть? — спрашиваю, — рапорт писать или нет?

— Обязательно. Это же документ. Надеюсь, канцелярия товарища Брежнева оформит его задним числом.

— Все будет готово к утру.

— Жду вас...

...Девушки принялись возрождать закуску. Жбанков и я уединились в спальне.

— Мишка, — говорю, — у тебя нет ощущения, что все это происходит с другими людьми... Что это не ты... И не я... Что это какой-то идиотский спектакль... А ты просто зритель...

— Знаешь, что я тебе скажу, — отозвался Жбанков, — не думай. Не думай и все. Я уже лет пятнадцать не думаю. А будешь думать — жить не захочется. Все, кто думают, несчастные...

— А ты, счастливый?

— Я-то? Да я хоть сейчас в петлю! Я боли страшусь в последнюю минуту. Вот если бы заснуть и не проснуться...

— Что же делать?

— Вдруг это такая боль, что и перенести нельзя...

— Что же делать?

— Не думать. Водку пить.

Жбанков достал бутылку.

— Я, кажется, напьюсь, — говорю.

— А то нет! — подмигнул Жбанков, — хочешь из горла?

— Там же есть стакан.

— Кайф не тот.

Мы по очереди выпили. Закусить было нечем. Я с удовольствием ощущал, как надвигается пьяный дурман. Контуры жизни становились менее отчетливыми и резкими...

Чтобы воспроизвести дальнейшие события, требуется известное напряжение.

Помню, была восстановлена дефицитная райкомовская закуска. Впрочем, появилась кабачковая икра — свидетельство упадка. Да и выпивка пошла разрядом ниже — заветная Мишкина бутылка, югославская "Сливовица", кагор...

На десятой минуте Жбанков закричал, угрожающе приподнимаясь:

— Я художник, понял! Художник! Я жену Хрущева фотографировал! Самого Жискара, блядь, Д'Эстена! У меня при доме инвалидов выставка была! А ты говоришь — корова!..

— Дурень ты мой, дурень, — любовалась им Белла, — пойдем, киса, я тебя спать уложу...

— Ты очень грустный, — сказала мне Эви, — что-нибудь есть плохое?

— Все, — говорю, — прекрасно! Нормальная собачья жизнь..

— Надо меньше думать. Радоваться то хорошее, что есть.

— Вот и Мишка говорит — пей!

— Пей уже хватит. Мы сейчас пойдем. Я буду тебе понравиться...

— Что не сложно, — говорю.

— Ты очень красивый.

— Старая песня, а как хорошо звучит!

Я налил себе полный фужер. Нужно ведь как-то закончить этот идиотский день. Сколько их еще впереди?..

Эви села на пол возле моего кресла.

— Ты не похожий, как другие, — сказала она. — У тебя хорошая карьера. Ты красивый. Но часто грустный. Почему?

— Потому что жизнь одна, другой не будет.

— Ты не думай. Иногда лучше быть глупым.

— Поздно, — говорю, — лучше выпить.

— Только не будь грустный.

— С этим покончено. Я иду в гору. Получил ответственное задание. Выхожу на просторы большой журналистики...

— У тебя есть машина?

— Ты спроси, есть ли у меня целые носки.

— Я так хочу машину.

— Будет. Разбогатею — купим.

Я выпил и снова налил. Белла тащила Жбанкова в спальню. Ноги его волочились, как два увядших гладиолуса.

— И мы пойдем, — сказала Эви, — ты уже засыпаешь.

— Сейчас.

Я выпил и снова налил.

— Пойдем.

— Вот уеду завтра, найдешь какого-нибудь с машиной. Эви задумалась, положив голову мне на колени.

— Когда буду снова жениться, только с евреем, — заявила она.

— Это почему же? Думаешь, все евреи — богачи?

— Я тебе объясню. Евреи делают обрезание...

— Ну.

— Остальные не делают.

— Вот сволочи!

— Не смейся. Это важная проблема. Когда нет обрезания, получается смегма...

— Что?

— Смегма. Это нехорошие вещества... канцерогены. Вон там, хочешь, я тебе показываю?

— Нет уж, лучше заочно...

— Когда есть обрезание, смегма не получается. И тогда не бывает рак шейки матки. Знаешь шейку матки?

— Ну, допустим... Ориентировочно...

— Статистика показывает, когда нет обрезания, чаще рак шейки матки. А в Израиле нет совсем...

— Чего?

— Шейки матки... Рак шейки матки... Есть рак горла, рак желудка...

— Тоже не подарок, — говорю.

— Конечно, — согласилась Эви.

Мы помолчали.

— Идем, — сказала она, — ты уже засыпаешь.

— Подожди. Надо обрезание сделать...

Я выпил полный фужер и снова налил.

— Ты очень пьяный, идем...

— Мне надо обрезание сделать. А еще лучше — отрезать эту самую шейку к чертовой матери!

— Ты очень пьяный. И злой на меня.

— Я не злой. Мы — люди разных поколений. Мое поколение — дрянь! А твое — это уже нечто фантастическое!

— Почему ты злой?

— Потому что жизнь одна. Прошла секунда и конец. Другой не будет...

— Уже час ночи, — сказала Эви.

Я выпил и снова налил. И сразу же куда-то провалился. Возникло ощущение, как будто я — на дне аквариума. Все раскачивалось, уплывало, мерцали какие-то светящиеся блики... Потом все исчезло...

...Проснулся я от стука. Вошел Жбанков. На нем был спортивный халат.

Я лежал поперек кровати. Жбанков сел рядом.

— Ну как? — спросил он.

— Не спрашивай.

— Когда я буду стариком, — объявил Жбанков, — напишу завещание внукам и правнукам. Вернее, инструкцию. Это будет одна-единственная фраза. Знаешь, какая?

— Ну?

— Это будет одна-единственная фраза: "Не занимайтесь любовью с похмелья!" И три восклицательных знака.

— Худо мне. Совсем худо.

— И подлечиться нечем. Ты же все и оприходовал.

— А где наши дамы?

— Готовят завтрак. Надо вставать, Лийвак ждет...

Жбанков пошел одеваться. Я сунул голову под кран. Потом сел за машинку. Через пять минут текст был готов.

"Дорогой и многоуважаемый Леонид Ильич! Хочу поделиться радостным событием. В истекшем году мне удалось достичь небывалых трудовых показателей. Я надоила с одной коровы..." ("...с одной коровы" я написал умышленно. В этом обороте звучала жизненная достоверность и трогательное крестьянское простодушие.)

Конец был такой:

"...И еще одно радостное событие произошло в моей жизни. Коммунисты нашей фермы дружно избрали меня своим членом".

Тут уже явно хромала стилистика. Переделывать не было сил...

— Завтракать, — позвала Белла.

Эви нарезала хлеб. Я виновато с нею поздоровался. В ответ — радужная улыбка и задушевное: "Как ты себя чувствуешь?"

— Хуже некуда, — говорю.

Жбанков добросовестно исследовал пустые бутылки.

— Ни грамма, — засвидетельствовал он.

— Пейте кофе, — уговаривала Белла, — через минуту садимся в такси.

От кофе легче не стало. О еде невозможно было и думать.

— Какие-то бабки еще шевелятся, — сказал Жбанков, вытаскивая мелочь.

Затем он посмотрел на Беллу Константиновну.

— Мать, добавишь полтора рубля?

Та вынула кошелек.

— Я из Таллина вышлю, — заверил Жбанков.

— Ладно, заработал, — цинично усмехнулась Белла.

Раздался автомобильный гудок.

Мы собрали портфели, уселись в такси. Вскоре Лийвак пожимал нам руки. Текст, составленный мною, одобрил безоговорочно. Более того, произнес короткую речь:

— Я доволен, товарищи. Вы неплохо потрудились, культурно отдохнули. Рад был познакомиться. Надеюсь, эта дружба станет традиционной. Ведь партийный работник и журналист где-то, я бы сказал, — коллеги. Успехов вам на трудном идеологическом фронте. Может, есть вопросы?

— Где тут буфет? — спросил Жбанков, — маленько подлечиться...

Лийвак нахмурился.

— Простите мне грубое русское выражение...

Он выждал укоризненную паузу.

— ...Но вы поступаете, как дети!

— Что, и пива нельзя? — спросил Жбанков.

— Вас могут увидеть, — понизил голос секретарь, — есть разные люди... Знаете, какая обстановка в райкоме...

— Ну и работенку ты выбрал, — посочувствовал ему Жбанков.

— Я по образованию — инженер, — неожиданно сказал Лийвак.

Мы помолчали. Стали прощаться. Секретарь уже перебирал какие-то бумаги.

— Машина ждет, — сказал он. — На вокзал я позвоню. Обратитесь в четвертую кассу. Скажите, от меня...

— Чао, — махнул ему рукой Жбанков.

Мы спустились вниз. Сели в машину. Бронзовый Ленин смотрел нам вслед. Девушки поехали с нами...

На перроне Жбанков и Белла отошли в сторону.

— Ты будешь приходить еще? — спросила Эви.

— Конечно.

— И я буду ехать в Таллин. Позвоню в редакцию. Чтобы не рассердилась твоя жена.

— Нет у меня жены, — говорю, — прощай, Эви. Не сердись, пожалуйста...

— Не пей так много, — сказала Эви.

Я кивнул.

— А то не можешь делать секс.

Я шагнул к ней, обнял и поцеловал. К нам приближались Белла и Жбанков. По его жестикуляции было видно, что он нахально лжет.

Мы поднялись в купе. Девушки шли к машине, оживленно беседуя. Так и не обернулись...

— В Таллине опохмелимся, — сказал Жбанков, — есть около шести рублей. А хочешь, я тебе приятную вещь скажу?

Жбанков подмигнул мне. Радостная торжествующая улыбка преобразила его лицо.

— Сказать? Мне еще Жора семьдесят копеек должен!..



Аркадий ЛЬВОВ

ДОСРОЧНЫЙ ЭКЗАМЕН

1

Вы думаете, я хоть чуточку сожалею о том, что произошло? Нет, честное слово, нет. Я знаю, этому трудно поверить, даже мои друзья не верят мне. Но им труднее, чем вам: они меня знают, и если что-нибудь не так, как они представляют себе, стало быть, ошибаюсь я. А они ошибаться не могут, они, видите ли, глядят со стороны, а со стороны всегда виднее. Ну, и черт с ними, пусть им виднее. Но ведь у вас другое, вы меня не знаете, и вы не имеете права не доверять мне. Почему? Станный вопрос. А если бы я, выслушивая вас, напустил на себя этакое фрейдовского тумана, вам было бы понятно?

Все началось с первой же встречи. Он не понравился мне. Здорово не понравился. Физиономия, понимаете, не та. Нет, не уродливая, напротив даже. Ирка Котова, моя сокурсница, просто по уши в него: любовь с первого взгляда. Ну, а у меня совсем другое, как раз наоборот. Теперь-то я, конечно, могу все объяснить, аргументация будет, что называется, на уровне. Но почему человек не нравится с первой же встречи? Откуда эта неприязнь с первого взгляда? Ну, с любовью в таких слу-

чаях дело проще. Никто не требует никаких объяснений. Любовь — она тебе и следствие, она тебе и причина. Точнее, наоборот, она и причина, она и следствие. А вот попробуйте невзлюбить человека и поставить кого-нибудь в известность, даже лучшего друга, сейчас же начнется дознание с пристрастием: почему, а все-таки, почему? Об интуиции лучше не заикайтесь, интуиция — это логический нуль, логический вакуум. Это, знаете, напоминает мне девятнадцатый век: "Я с вами драться не буду". "Как так?" "Вы, сударь, не дворянин". "Так вот вам еще пощечина! Публично!" "Ха-ха! Если вам угодно, покройте меня еще и матом. Все равно, это не оскорбление: вы не дворянин!" Ясно? Можете трепаться в свое удовольствие. А нам нужны факты. Факты, факты и еще сто тысяч раз факты. Да, так вот, пришел он к нам, на физмат, с год назад. Как сейчас помню, было это пятого сентября, в четверг. А через день, нет, вру, через два, в субботу, на кукурузу послали нас. Подали нам грузовички, забросили мы свое барахло — ботинки, плащи, полотенца — и сами туда же. Сидим десять минут, двадцать, полчаса, девочек перещипали, сами в синяках, и все ни с места. Другие уже, наверное, километров по двадцать отмахали, а мы все сидим.

— Шофер, — говорю, — долго еще?

— Директора дожидаемся.

Директора? Ага, вот и он, директор. Ну, разумеется, никакой это не директор — станет ректор на грузовичке ездить! — а наш новый наставник Филимон Григорьевич Чупрун, кандидат философских наук, диаматчик.

— Здравствуйте, товарищи.

— Здрасте.

— Ну, как настроеньице?

Дурацкий вопрос! Какое же такое может у нас быть настроение? Настроение как настроение — впервые, что ли, в колхоз ехать. Для меня, например, этот месяц — рай земной. С нашего курса только одна не едет — Нинель Бородавкина, порок сердца у нее.

Дорога у нас недолгая — часа два, два с четвертью. Приехали, отвели нам класс в школе — размещайтесь, как у себя

дома. Кровати ни одной, сеном обеспечили нас года на три вперед. Сено свежее, сочное, духота стоит от него, как перед грозой.

Ну, чего там еще? Уложились, рассортировались — айда на работу. Ан, нет, дудки, Филимон Григорьевич речь держать будет.

— Товарищи, что такое кукуруза и какова ее роль в решении проблемы изобилия, объяснять не буду. Кукуруза — это мясо, кукуруза — масло, молоко, сало.

Слушаем: свежо, черт возьми, а главное — полезно. А то живешь себе таким буршем и все кукурузные хлопья по магазинам ищешь. Или, как их там, глазированные чешуйки в сахаре — тоже вкусные.

Сентябрь в наших краях — милейший месяц. Солнце греет в самый раз, в меру, дождей нет, арбузов, овощей, фруктов, хоть завались. Для меня ломоть пшеничного хлеба с маслом да кусок сахарного арбуза — олимпийская снедь. Сашка Лунц, мой друг, талантливейший математик, опираясь на этот факт, неопровержимо доказал, что в жилах моих предков княжеская кровь не текла. Еще бы, откуда у гражданина еврейской национальности вельможная кровь! Но все-таки это была кровь, а не арбузный сок, как у их потомка. Кстати, у Сашки тоже с сердцем неважно. Освобождение он мог получить запросто. Но Сашка взял себе за святейший принцип не пользоваться правом, которое ставит его в исключительное положение.

— Не хочу быть больным, хочу быть, как все.

Все — это, в первую очередь, я, потому что у меня, кроме перебитой на ринге переносицы и родимого пятна под лопаткой, никаких физических аномалий не обнаружено. Даже крайняя плоть, и та при мне, не то, что у моих собратьев.

Первый дождь выпал недельки через две. Зато это был всем дождям дождь. В такую погоду сидишь у окна и, волея-неволей, думаешь об одном — о сотворении мира. И видишь всяких бронтозавров, игуанодонов, трицератопсов.

Накануне Сашка провел скверную ночь — обычное дело для ревматика.

— Самое неприятное — это страх. Не страх даже, а тревога какая-то, беспокойство.

Что ему сидеть здесь? Ведь это может черт знает чем закончиться. Да уж куда там, разве Лунц способен на человеческие поступки! А почему, собственно, я должен спрашиваться у него? Друг я ему или не друг? Пойду к Чупруну и скажу: так, мол, и так, надо отправить человека домой, Филимон Григорьевич. Кстати, сам он произносит "Григорович".

— Филимон Григорьевич, у Лунца ревматизм, его домой надо бы.

— А вы что, за неграмотного?

Ох, и не терплю я этого ехидства в серьезных разговорах. И всегда врасплох застают меня такие штучки: готовься не готовься — все равно врасплох.

— Почему за неграмотного? Лунц — грамотный. Но грамотные тоже разные бывают.

Ну, все, пошла высокая материя, психоложество, как говорит Сашка, что-то вроде интуиции.

— Послушайте, Орликов, займитесь своим делом. Ходатаи теперь не в моде, не то время.

А каким своим делом, если на улице второй потоп? Нет у меня сегодня своего дела, кроме лунцевского.

С ночи Сашку стала боль в ногах заедать. Не так, чтобы невтерпеж было, но неприятно все-таки. В руках тоже что-то такое появилось — неловкость, отяжеленность какая-то. А утром солнце — эх, и солнце же!

— Смотри, Сашка, солнце! На горе Арарат растет красный виноград!

— Борис, мне в город надо.

Странно, двадцать лет уже по земле топаю, а простейших вещей понять не могу: у меня радость, а у Сашки — боль. У Сашки Лунца, моего друга. Сашка, солнце, смотри, какое!

— Паскудно мне, Боря.

Эх, черт с ними, с этими психоложескими па, пойду к Чупруну на поклон.

— Постой, Борька, я сам.

Борька — это уже другое дело, а то Боря, Боренька — воспитанный мальчишек из детской.

— Лунц, у вас температура?

Лунц не знает, есть у него температура или нет. Скорее всего, нет. Ну, может, тридцать семь и одна, тридцать семь и две. Не больше, во всяком случае.

— Кстати, тридцать семь — это еще норма. Десятая туда, десятая сюда. А вам обязательно надо ехать, Лунц?

Нет, Лунцу вообще не надо ехать. Просто он не в своей тарелке, а врач предупредил его...

Но ревматизм — хроническое заболевание. А вслушиваться в каждый чох глупо.

— Разве не так, Лунц?

Разумеется, так, именно так, именно, именно, именно...

На поле Сашка приободрился. Он разошелся до того, что на полном серьезе стал доказывать психогенную систему ревматизма. Кто его знает, может, он и прав, может, гром и молния в самом деле не электричество, а попросту прогулочные забавы Ильи-пророка.

На следующий день Сашку отвезли в город. Чупрун поехал с ним. Сашке дали койку в лучшей клинике психоневрологического института. Это, говорят, удастся не всякому. Даже если у больного отнялись ноги.

Чупруну удалось.

А у Лунца всего-навсего парез нижних конечностей. На костылях он уже сейчас свободно передвигается. А в недалеком будущем возможно даже стопроцентное восстановление. Ну, а пока на костылях. Паралитики, так те просто убеждены, что Сашка под счастливой звездой родился. Черт его знает, может, они и правы: звезды-то по-разному видятся нам, людям Земли.

Сначала я не поверил: диаматчик, философ доцент Чупрун и вдруг замдекана на физмате. Ирка Котова мне прямо под нос бумажку сунула: на, болван, читай. Смотрю, верно, внизу написано: зам. декана физико-математического факультета доцент Ф.Чупрун; Ф.Чупрун в скобках, а впереди подпись, персты на три. Такую не подделаешь.

А мне-то, положи руку на сердце, что за дело до него: хоть зам, хоть пом, хоть архимандрит. У Пушкина, помните, эпиграмма на Орлову-Чесменскую:

**Благочестивая жена
Душою Богу предана,
А грешной плотию
Архимандриту Фотию.**

— Орликов!

— Я — Орликов!

— У меня сегодня лекция была?

— Так точно! Вторая пара.

Что это он устался на меня: не вчера, кажется, познакомились.

— Я не видел вас.

Верно, откуда же видеть, если я у профессора Ходорова, биофизика, вторую пару отсидел — 11.00 — 12.50.

— Орликов, пропускать лекций нельзя.

— А я и не пропускал. Можно справиться у Николая Павловича. Ходорова.

— Орликов, пропускать лекций нельзя.

На голове у него чуть-чуть наметилась плешь, у капуцинов в этом месте тонзура, только тонзура побольше и построже формой. А лицо у него тонкое и веки немного приспущены, как у Рамакришны.

Скажите, у вас бывает такое: слушаешь-слушаешь человека, а в голове ничего, ну, решительно ничего, 273 ниже тройной точки воды, абсолютный нуль?

— Позитрон, мезон, электрон, нейрон...

— Нейтрон, Филимон Григорьевич.

— Орликов, — он закрыл глаза и так, с закрытыми глазами, продолжал, — вы зря не записываете... элементарные частицы, наделенные индивидуальной волей. Вероятностный мир, пришедший на смену детерминированному, с его причинно-следственными связями, является, так сказать, тем абсолютным естественно-физическим фундаментом, который призван не только упрочить, но и канонизировать моральные принципы и устои насквозь прогнившего мира Гобсеков.

Извращая сущность новейших открытий физики, буржуазная этика тщится доказать, что в мире, лишенном причинности, нравственность — это оковы, которые освобожденный индивидуум стряхнет с себя, как ненужный балласт... Что у вас, Котова?

У Котовой вопрос. На лекциях Чупруна Котову постоянно осаждают полчища вопросов.

— Филимон Григорьевич, я не поняла: сначала вы говорили, что они хотят упрочить мораль, а потом — наоборот, что они хотят стряхнуть мораль.

— Так, так, Котова. Значит, вы не поняли? Кто еще не понял?

— Я не понял.

— И вы, Орликов, не поняли? Чего же именно вы не поняли, Орликов?

— Ничего не понял.

— Н-да. Кто еще? Значит, только Котова и Орликов.

Вот это антраша! Дело № 1: Котова и Орликов против Чупруна. Котова, внезапно прозрев, считает своим священным долгом немедленно отмежеваться от меня.

— Филимон Григорьевич, я уже все поняла.

— И вы, Орликов? Нет? Странно.

Что он имеет в виду? Почему — странно? Нет, пусть объяснит, что странного в том, что студент не понял его.

Буржуазное общество насквозь прогнило — это я знаю. Что же из того? Значит, у меня никаких вопросов по этому пункту не может быть? Но почему, скажите, почему?

— Хорошо, Орликов, садитесь. Я объясню.

Видали? Вот так всегда: чуть только я человеком становлюсь — уже и сражаться не с кем.

Как, по-вашему, сколько на одном кольце ключей уместиться может? Два, три, пять? А тринадцать? Тринадцать не хотите? Не верите — пересчитайте сами. Я вот только одного не пойму: к чему столько ключей? По-моему, такой связкой

не только факультет — весь университет, весь город запереть можно. И всегда они в руке у него, в правой, и всегда он играет ими: звяк-звяк, звяк-звяк. Милая привычка, ничего не скажешь.

— Орликов!

— Есть Орликов!

— Зайдите в деканат.

Дверь справа — к декану, профессору Добровольскому, дверь слева — к нему, доценту Чупруну. Двери огромные, бурые, дубовые, над замочной скважиной львиная голова с медным кольцом в пасти. Черт знает, на что человек силы тратил. Кресла тоже дубовые, бурые, резные, спинки под потолок уходят. Прет ото всего этого бурбонами — хоть беги. Я бы эти кресла — в щепы, в щепки, в пыль!

— Ты чего у дверей, Орликов? Давай поближе.

— Ничего, я так.

Чупрун укоризненно цикает языком. Ладно, пусть по его, не то еще упрашивать начнет, а мне этих любезностей ничего гаже нет.

— Орликов, Боря, — тоже имечко: прямо по коленкам дают, рефлексы на сгиб проверяют, — я вот что... в общем, поговорим начистоту. С тобой можно.

Ну, если начальство говорит, можно, стало быть, можно.

— Тебе не нравятся мои лекции. Дело, как говорят, вкуса. Но я не об этом. Меня волнует другое. Ты парень способный, талантливый. Мы должны позаботиться о тебе, нам не безразлично твое будущее. Но где твоя организованность, где собранность, где самодисциплина? Где? — Сжатые в кулак пальцы доцента Чупруна пожелтели. — А нам нужны люди организованные, нам нужны собранные, нам нужны дисциплинированные.

Нам? Кому это — нам? От чьего имени он говорит? От университета? Города? Народа? Посторонитесь, доцент Чупрун, я хочу увидеть тех, кто стоит за вами, я хочу увидеть тех, что подставили вам свои плечи.

— Ты понял?

— Я понял, Филимон Григорьевич. Но кому это — нам? Вы часто говорите: нас, мы, нам.

Наконец-то он перестал играть ключами, наконец-то я не слышу этого мерзостного звяканья.

— Орликов.

— Я — Орликов.

— Можете считать, что разговора не было.

Он первый подошел к двери и отворил ее. И, как настоящий хозяин, стал у порога и стоял до тех пор, пока не убедился, что помощь его не понадобится.

Но разговор-то был! Как он смеет утверждать, что разговора не было, если, я помню все до мельчайших подробностей: и то, что я хороший парень, но должен быть еще лучше, и то, что я кому-то нравлюсь, но не совсем, и то, что ключи все время звякали, а потом вдруг перестали звякать.

4

Ирка Котова — красивая, но глупа, как пробка! — потрясена:

— Борька, ты отказался изучать истмат!

Вот это новость, и не вопрос ведь, а информация, точная, безоговорочная: по сведениям из достоверных источников, у лошади барона Мюнхаузена отрос новый зад.

— Ты угадала, деточка. — Нельзя быть идиотом и всерьез доказывать, что ты не верблюд. — Адьё, я в лабораторию биофизики, к Николаю Павловичу.

Профессор Ходоров сделал открытие, великое открытие: магнитные свойства ДНК при делении клетки изменяются в корне. И еще одно: природа этого магнетизма неизвестна. Пока неизвестна. Это мое добавление: Николай Павлович не любит добавлений.

— Орликов!

— Я — Орликов!

— Знаю.

Действительно, дурацкая привычка: я — Орликов. Подумаешь!

— Извините, Николай Павлович.

— Почему вы гуляете?

То есть, как это гуляю? Профессор Ходоров имеет в виду другое: почему студент Орликов занят не по расписанию? Так?

— Совершенно верно: почему вы гуляете?

— Я не гуляю.

В конце концов, если профессор может ломать комедию, то студенту самим Богом положено. Николай Павлович о чем-то думает. Может быть, о том, что нелепо требовать от студента исповеди о почитании и неуважении, любви и неприязни.

— Хорошо. Но без разрешения декана, голубчик, в следующий раз вы не придете. Закон есть закон. Вы знаете латынь?

Нет, я не знаю латыни. Латынь из моды вышла ныне, но *lex est lex* — это я знаю.

В детстве, проснувшись поутру, я первым делом глядел в окно: есть ли солнце? В мире, где солнце, радость не иссякает. С тех пор прошло десять лет — половина моей жизни. Для солнца — это меньше половины, но с годами и солнце не становится моложе. А может, все дело просто в том, что у каждого возраста свои истины. Кстати, мой дедушка Федор Орликов, урожденный Эфраим Фогель, до двадцать четвертого года председатель Тилигуло-Березанского укома, последнюю весточку прислал десять лет назад — из Норильска, как раз на полдороге между Полярным кругом и Ледовитым океаном.

Но это же нелепость, чтобы весеннее мартовское солнце было само по себе, а человек под этим солнцем — сам по себе. Правда, нелепость? Молчите? Ну, нет, вы не собьете меня своим молчанием: я знаю, я точно знаю — это нелепость, самая большая, какую только можно выдумать.

5

Борька Орликов — идиот. Отныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Это — заключение доктора Лунца. Доктора от физики. Апеллировать можно, но бесполезно. Сашка невыносимо испортился. Полгода больницы, парез и костыли сублимировали Сашку Лунца, милейшего парня, солнцепок-

лонника, в пророка с постной рожей и жидкой бороденкой. Ей-Богу, я теперь ничему не удивляюсь: садитесь в помойную яму, повернитесь к солнцу задом и нареките себя скульптурной группой "Плевков в солнцеву харю". Здорово, а?

Ладно, ладно, шутки по боку. Но я же не могу — понимаешь, не могу! — ходить на лекции Чупруна: Маркс-Энгельс по Чупруну, Ленин по Чупруну, коммунизм по Чупруну, коитус — и тот по Чупруну.

Лунц здорово похож на профессора Ходорова.

— Сашка, до чего же ты похож на Николая Павловича!

— Да?

Он еще спрашивает! Просто вылитая копия, как говорит Ирка Котова.

Сашка смотрит в окно, я удивляюсь его спокойствию, а он как заорет:

— Так ты будешь посещать лекции или нет, черт бы тебя драл!

— Не буду.

А ведь я свинья: Сашка только из больницы, Сашке нельзя волноваться. Сашке покой нужен.

— Булачевский меня в гости приглашал. Пойдем, Сашунц?

— Азинус.

— Кто?

Отвечая на вопрос, доктор Лунц дает ключ к проблеме в целом: когда речь идет об ослахе, мне остается только одно — прядать ушами и кричать и-го-го.

Идти к Булачевскому или не идти? А зачем, собственно, идти — за советом? Федор Михайлович Булачевский, бывший замдекана физмата в университете, благополучно покаялся и ныне замдекана в педине — в четверти часа ходьбы от своей альма-матер. Единственный совет, который он может дать: правила суть правила, какие бы эмоции они у вас ни вызывали.

Стало быть, не идти?

Дойду до поворота, сверну за угол и если первой встречной окажется блондинка, молодая, высокая, с серыми глазами, и если она глянет в мою сторону — явно в мою! — я пойду к Бу-

лачевскому. Если же это будет брюнетка, шатенка, рыжая, лиловая, пегая, ультрамариновая или пусть даже блондинка, но с черными глазами, или просто равнодушная ко мне — я поворачиваюсь на 2d.

Честное слово, я начинаю понимать древних и не так уж презираю их за фатализм. В конце концов, человечеству понадобились века страха, трусости и отваги, чтобы поставить на место фатума теорию вероятности и в числе выразить реальность, которая мечется от нуля к единице. Между ними, единицей и нулем, почти вплотную к нулю, ютилась моя встреча с блондинкой — за поворотом, нос к носу.

Она не только глянула в мою сторону, она улыбнулась мне, блондинка с серыми глазами, молодая, высокая, красивая. И удивительно спокойная.

Послушайте, зачем человеку неприятности? Зачем человек сам кличет на свою голову беду? Если бы вы видели, как она улыбнулась! Нет, это просто невероятно, что люди умеют так улыбаться.

Итак, я иду к Булачевскому. Булачевский положит мне на плечо руку, испачканную мелом, и скажет: правила суть правила, независимо от эмоций, которые они у тебя вызывают. Может быть, он скажет еще какие-нибудь слова, наверняка скажет, но самыми главными будут эти слова: правила суть правила. И прежде чем произнести их, он обязательно положит мне на плечо руку: да отпустятся тебе грехи твои, сын мой... Аминь!

Ну, нет, дудки, плевать мне на все это! Не нужны мне индальгенции — ни печатные, ни устные. Федор Михайлович, почтеннейший, извините. И вы, милая девушка, солнцеликая, златопегая, не взыщите с клятвопреступника.

6

С Чупруном, Филимоном Григорьевичем, замдекана, кандидатом философии, мы встречаемся ежедневно — в вестибюле. Я приветствую его наклоном головы. Лунц утверждает, что этот наклон равен точно тридцати градусам — по десяти

градусов должности, возрасту и ученой степени нашего наставника. Филимон Григорьевич отвечает сухо, но без посторонних эмоций. Так он здоровается со всеми студентами — я имею в виду тех, что, в отличие от меня, справно посещают его лекции. Впрочем, на сегодняшний, как говорится, день я пропустил немного — шесть лекций, двенадцать часов. Однако, если учесть, что прошло всего две недели, а двенадцать часов это как раз то, что предусмотрено расписанием на две недели, никто не решится заподозрить меня в лености или отступничестве. У Николая Павловича в лаборатории я был дважды. О разрешении деканата профессор Ходоров не спрашивался, но в третий раз, когда я уже вполне окреп духом и без страха ступил через порог лаборатории, он вдруг обратился ко мне:

— Орликов, вы хотите создать прецедент. Я не хочу быть вашим сообщником. Извольте удалиться.

Голова у меня мгновенно отяжелела, уши заложило и стиснуло так, будто я уже добрый час болтаюсь на дне одиннадцатикилометровой Филиппинской впадины. Я извинился, но вода, особенно в глубинах Тихого океана, отвратительно проводит звук, и до профессора Ходорова, если он не глядел на меня, едва ли что-нибудь дошло.

День выдался неважный: весна не весна, осень не осень, что-то вроде 86 марта, между днем и ночью, как у Поприщина. Паскудство, в общем.

Слоняться по городу — это у меня страсть с детства. Если неприятности какие-нибудь, огорчения, сидеть на месте — гроб с музыкой. Но вся штука, понимаете, в том, что страшно трудно сохранить без ущерба божественный дар зеваки и праздношатающегося. А без него и город что-то вроде квартиры с отдельным ходом: никто тебе голову не морочит, но никто тебя и не услышит, хоть криком изойди. В общем, как творит в трудную минуту мой приятель филолог Сенька Гаухманов, гордыня, горбаня, горбыль, гроб.

Все это хорошо, но нельзя же до скончания мира в оловянные солдатики играть, надо подумать и решить. Профессор Ходоров не хочет ко мне в сообщники. Стало быть, от ворот

поворот. Идти к декану? "Разрешите, Константин Сергеевич, взамен художочных лекций доцента Чупруна посещать лабораторию профессора Ходорова, мне там больше нравится". Однако лекции Чупруна посещать не буду — это раз и навсегда. Итак, все ясно. Что же не ясно? Чего-то явно не хватает. Ходоров есть, декан есть, Чупрун есть. Кого же нет? Ага, меня — вывода нет.

А вывод нужен.

Вылететь из университета — это не очень сложно: "За дискредитацию преподавателей, за недисциплинированность, за предумышленное непосещение лекций студента Б. Орликова..."

Странно, что до сих пор нет приказа. Это же невероятно, чтобы доцент Чупрун не доложил начальству. Но факт остается фактом: не только в ректорат, даже в деканат Б. Орликова никто не приглашал. Но это же неспроста: что-то затевается наверняка. Ну что, например? Подумаем. Вариант № 1: комсомольское собрание, суд общественности, персональное внимание товарищей из инстанций. Но для Чупруна — это самоубийство. Не может быть, чтобы он не понимал этого. Никто не поверит, что Орликов не хочет изучать истмата. Даже Ирка Котова подтвердит, что Борька Орликов не только основную, но и дополнительную литературу по философии штудирует. Впрочем, зачем Котова — у меня есть конспекты, написанные моей собственной рукой. Что рука именно моя, подтвердит экспертиза графологов. Итак, в деле "Филимон Чупрун против Борьки Орликова" все на стороне обвиняемого: графологи, общественность и логика событий.

Вариант № 2: не будет никакого суда, никаких обвиняемых и никаких свидетелей. Все будет гораздо проще. Доцент Чупрун еще чуть потерпит, а потом на основании "Положения об уложении" или "Уложения о положении", Борьку Орликова проводят до порога: уходя, гасите за собой свет.

Н-да, перспективочки, надо прямо сказать, розовые: каравай, каравай, любишь не любишь — выбирай.

Остается одно — досрочно сдать экзамен.

7

Честное слово, дети, чудо: Чупрун безо всяких согласился принять у меня экзамен, когда я сочту себя подготовленным.

— Через неделю, — это я просто на радостях бухнул.

— Тем лучше.

Вот и весь разговор. Я-то, положим, предпочел бы еще несколько слов сказать, но догонять человека, чтобы поговорить с его спиной, это не в моем вкусе.

У нас куца комната с огромным арочным окном. Собственно, это Сашкина комната, но я квартирую здесь уже третий год — безвозмездно, разумеется, если не считать натуроплаты в виде моего общества. Напротив, через коридор, живут Лунцы — отец, мать и бабушка. В полутьсяче километров отсюда к западу живет моя мать с мужем и дочерью, на таком же расстоянии к востоку — мой отец с женой и трехлетним пацаном.

До двенадцати ни звука: долой треп — салют труду!

С самого утра, а может, и с вечера или ночи, меня одолевало чувство какой-то внутренней скорости. Все движение вокруг казалось необычно замедленным. Вы видели когда-нибудь, как ленивец взбирается на дерево? Ваше собственное чувство ритма требует, чтобы ленивец уже совершил следующий шаг, а он только поднял лапу и, замерши в самом начале пути, всерьез задумался: а не вернуться ли назад?

В восемь тридцать я уже был в университете: к этому времени обычно приходит Филимон Григорьевич. Но сегодня среда, а по средам, оказывается, он является в четырнадцать ноль-ноль. Алла Андреевна, секретарь деканата, удивлена:

— Боренька, вы не знали, что сегодня среда?

— Что вы, Алла Андреевна, я даже знаю, что вчера был вторник, а завтра будет четверг, но я не знал, что в среду рабочий день начинается после обеда.

— Боренька, вы бунтовщик.

Взрослые, когда они бывают в хорошем настроении и хотят польстить самолюбию малышей, непременно ужасаются: у-у, какой ты страшный!

А мне вовсе неохота разводить турусы.

— Аллочка, оревуар!

Алла Андреевна — женщина с юмором. Каждая вещь в ее глазах стоит ровно столько, сколько она стоит. Ни копейкой дороже.

— Успокойтесь, дитя... вы сегодня не в духе.

Ну, и глазница у нее, зеленые с желтым, как у дикой кошки. Дикая кошка, знаете, раза в два выше и длиннее домашней. И шерсть у нее совсем другая - зеленовато-желтая, как пески.

— Аллочка Андреевна, до свиданья.

Не понимаю, зачем ей сидеть в деканате? Окончила физмат и сидит секретарем. Неужели только затем, чтобы умиротворять таких кретинов, как я?

Третья пара у нас была в Октябрьской аудитории, на четвертом этаже, в перерыве кто-то крикнул:

— Орликов, в деканат. Бегом!

"Бегом!" — это у нас обязательный привесок, когда студента приглашают к начальству. Не торопясь, я отсчитал все девяносто восемь ступенек, но сердце мое уже раз с тысячу обегало эту сотню ступенек вверх и вниз. В общем, отличный материал для бессюжетного космического рассказа "Орбитальный полет сердца".

— Здравствуйте, Алла Андреевна.

— Боренька, мы уже здоровались.

— Да?

Ей-Богу, она права. Ведь этот милый разговор у нас был не вчера и не позавчера, а именно сегодня утром. Странно.

— Садитесь, Орликов.

Ну нет, в деканате я предпочитаю стоять. Может быть, это многолетняя привычка — здесь никогда не предлагали мне стула, а может, просто защитный рефлекс: на ногах это, знаете, на ногах.

— Орликов, доцент Чупрун передают вам свои извинения и просят перенести встречу на понедельник, три сорок.

У меня отвратительная особенность: когда случается непредвиденное, я цепенею. Это как в кино: грохочут орудия,

прут танки, ревут самолеты — и вдруг кадр застывает на экране. И, оказывается, все это без голоса, без плоти, без смысла.

— А почему не сегодня? Ведь договорились на сегодня.

— Я не знаю, почему Филимон Григорьевич сегодня не могут и, поверьте, об этом не следует думать. Кстати, в пятницу на второй паре у вас Чупрун. Я бы не пропускала этой лекции.

— Спасибо, Алла Андреевна.

— Боря, вы уже не мальчик. Завяжите узелок на память.

Узелки не про меня хотя бы потому, что для этого надо быть всегда при носовом платке. И так, до понедельника. Сделай, малыш, тете до свидания — и пойдём.

Это вздор, что в условиях Земли нельзя прочувствовать физически относительность времени. Я решительно и во всеуслышание объявляю, что провел пять суток в четырехмерном мире Альберта Эйнштейна. Я утверждаю, и ни пламя костра, ни каленое железо, ни острое кола — ничто не заставит меня отречься от своих слов: пять суток я жил по часам, минута которых равнялась земному часу. В этом мире с четвертым измерением только удары сердца сохраняют объемность, все же прочее, что мы, люди, называем физическими телами, становится плоским, как пятно света.

Ровно в три сорок я отворил дверь деканата. Алла Андреевна, взглянув на часы, кивнула головой:

— Идите, Борис, вас ждут. Ни пуха, ни пера.

В ответ на это полагается как-то плюнуть, но я позабыл, как именно. Ерунда, конечно, но появилось досадное чувство пропущенного хода.

Чупрун сидел за огромным, как равнина, дубовым столом.

— Вы подготовились?

Станный вопрос. Я вспомнил рассуждения Анатоля Франса об армиях, о том, что все они, даже армия игорного княжества Монако, самые сильные на свете, потому что заведомо слабую армию бессмысленно держать.

— Какова же мораль, Орликов?

Филимон Григорьевич всегда безукоризненно выбрит. Тем не менее, периодически он ощупывает, скользя книзу, свой

подбородок и, чуть что, средний палец долго и дотошно изучает подозрительное место.

— Мораль?

В самом деле, какова же мораль? Я пришел — вот и все. А вообще, надо поменьше высказывать со своими дурацкими ассоциациями.

— Хорошо, запишите вопросы. Полчаса вам достаточно?

— Предостаточно.

Повернувшись вполоборота к столу, Чупрун уставился в пятнышко на барометре. Барометр висит здесь спокон веку, "переменно" написано через ять, стрелка с оперением и полукольцом у основания знавала, должно быть, часовщика, отходившего ко сну в ночном колпаке с кисточкой. О чем думает Чупрун? Собственно, меня это должно тревожить не более судьбы прошлогоднего снега, но я никак не могу собраться в точку и думать о том, что для меня сейчас важнее всего на свете. Чупрун глянул на часы, потом на барометр, затем опять на часы — и у меня явилась идиотская мысль, что он сверяет часы с барометром. Я улыбнулся, Чупрун принял мою улыбку как знак готовности к ответу.

— Нет Филимон Григорьевич, я еще подумаю.

У меня оставалось пятнадцать минут. За пятнадцать минут можно вспомнить все, чему выучился за пятнадцать лет, но для этого нужно быть хозяином своей головы. А у меня, черт их дери, в самое неподходящее время какие-то стишата — ты стояла в белом платье и хвостом махала! — вдруг шабаш затевают. Попробуйте в такой компании всерьез решать проблемы количества и качества в истмате.

— Я слушаю вас, Орликов.

— Наиболее яркое выявление закон перехода количества в качество...

— В качество...

— ...в качество, я сказал, в качество... в условиях античности нашел в революции рабов, приведшей к низвержению рабовладельчества и утверждению феодализма. Мощный удар рабовладельческому миру нанес Спартак в первом веке до новой эры.

Я отлично помню роман Джованьоли "Спартак" — "дорогой Джованьоли... преданный вам Гарибальди" — и добросовестно загружаю алтарь всеядного Бога с пошлейшим именем Экзамен. Но поскольку империя цезарей, нокаутированная Спартаком, продержалась еще пятьсот лет, я не вижу способа уклониться от характеристики последующих веков, пусть даже не каждого из хронологического ряда, но хотя бы первого, третьего и пятого или второго, четвертого и пятого. Пятого не миновать, пятый нужен в любом варианте — революция завершилась именно в этом веке. Но вместо того, чтобы отбарабанить все по форме и смотать удочки, я предаюсь неуместным расчетам и в конце концов умолкаю, ибо никак не могу взять в толк, как это революция умудрилась растянуться на целых пятьсот лет — двадцать пять человеческих поколений! — и почему количеству, изменениям в рабовладельческом укладе, достигшим критической точки, понадобилось полтысячелетия, чтобы перейти, наконец, через падение Рима, в качество — феодализм.

—Все?

Это голос экзаменатора — нунция Бога Экзамена. Все они так: выжидают минуту-другую, а потом бросают тебе это свое "Все?", которое вовсе не вопрос, а грозное обвинение самого Господа: долговато вы трепались, голубчик, а в главном так и не признались.

— Вообще-то не все, Филимон Григорьевич.

— Так продолжайте.

Позвольте, но как я могу продолжать, если все, что накануне было яснее ясного, вдруг утратило смысл. Разумеется, я могу говорить чужими словами, и они будут так же убедительны, как мои собственные, а может, еще убедительнее. Но ведь, это не мои слова, это чужие слова.

— Стало быть, вы сомневаетесь?

— Почему сомневаюсь? Я не сомневаюсь, я просто не понимаю.

Чупрун вынимает из кармана связку ключей и, перебирая их по одному, очень спокойно и очень тепло говорит:

— Надеюсь, вам ясно, что продолжать экзамен нет смысла. Количество-качество — кардинальный вопрос истмата.

Отложив на кольцо последний ключ, он произнес последнее слово: тринадцать ключей — тринадцать слов.

В магию чисел я не верю, просто он подчинился ритму, заданному связкой ключей.

8

Борька Орликов завалил истмат.

Борька Орликов...

Борька Орликов...

Надо быть абсолютным кретином, чтобы доказывать, что ты все-таки не дурак, хотя и завалил экзамен. Но как можно оставаться спокойным, когда Ирочка Котова, изъясняя свое глубочайшее соболезнование, уведомляет тебя с трогательным укором:

— Борька, ты совсем не читал Ленина! Обалдеть можно.

Откуда это? Ну, откуда, скажите мне! Ведь ничего подобного не было, вы-то отлично знаете, что ничего подобного не было. Откуда же эти гнусные слухи? Об экзамене я рассказывал только двоим — Алле Андреевне и Сашке Лунцу. Подробностей не было. Этим людям не нужны подробности.

Алла Андреевна, подперев нос пальцем, сказала тихо, почти шепотом:

— Я проваливалась дважды. Боря, держите себя в руках.

Сашка уже неделю хворает ангиной. Вечером он принял тройную дозу салицилки. Говорят, салицилку надо принимать до оглушения. Ревматикам очень помогает.

Откуда же это: Борька Орликов не читал Ленина! Да это же мерзость, это же провокация. Я не знаю, как рождаются слухи. Может, по злему умыслу, может, по недомыслию. Но нельзя подозревать человека по мотивам, которые в ясности и силе уступают математическому доказательству. Поверьте, это впервые в жизни — я возненавидел человека только по подозрению. У меня нет доказательств, кроме моих собственных чувств. Но почему, почему голове надо верить больше, чем сердцу! Почему любить можно без математических доказательств, а ненавидеть и презирать — нет? Разве ненависть не такое же человеческое чувство, как любовь!

— Нет, — говорит Сашка Лунц, — не такое. Но с глазу на глаз сдавать экзамен Чупруну не стоит.

Понятно? Ненавидеть нельзя, но не доверять можно. Здорово, а!

Но как же, черт возьми, сказать об этом ему: уважаемый Филимон Григорьевич, по-моему, вы провокатор, нужен ассистент. Так?

— Боря, держите себя в руках.

Алла Андреевна, Аллочка, почему одни слова? Почему бы вам не погладить меня? Вот так: нежно, нежнее, еще нежнее.

Вчера я говорил с профессором Добровольским, нашим деканом. Я сказал ему: Константин Сергеевич, дайте ассистента. Что-о? Вы с ума сошли, Орликов! Доцент Чупрун оказал вам любезность, он тратит на вас свое личное время, а вы позволяете себе усомниться... уходите, уходите и не смейте вспоминать об этом.

Боже мой, это же надо быть идиотом, чтобы просить у декана Добровольского защиты от замдекана Чупруна!

И все-таки самое главное — ничего не преувеличивать. Пока предметы и явления остаются самими собою, человек остается человеком.

Вот передо мною лицо доцента Чупруна — безукоризненно выбритые щеки, синеватый подбородок, приспущенные, как флаги в траур, веки и прозрачные, с тонкими черными волосиками, ноздри. То есть, разумеется, никакого лица передо мной нет, но я могу зажать его в своих пальцах так, что прозрачные ноздри станут сизыми, как у проспиритованного шкипера с парусника "Святой Иуда".

И все-таки самое главное — ничего не преувеличивать. Через десять дней мы снова встретимся с доцентом Чупруном, и снова с глазу на глаз. Десять дней — это количество, которое перейдет в качество лишь на одиннадцатый день, когда я рассчитаюсь с доцентом Чупруном и заявлюсь к профессору Ходорову в сверкающих доспехах академического порядка и законности.

Самое главное — ничего не преувеличивать. Вот передо мной лицо доцента Чупруна, синий подбородок, прозрачные ноздри...

Но это ничего, это просто воображение. Стоит только захотеть, и вдали, на горизонте, проскачет мустанг из пампасов Бразилии, снежный человек йети сбросит каменную глыбу с вершины Гималаев, Жомолунгмы, а нильский крокодил проглотит солнце и, безутешно горя, задерет морду в черное небо и завоюет собакой.

Главное — ничего не преувеличивать.

Вы думаете, я хоть чуточку сожалею о том, что произошло? Нет, честное слово, нет. Я знаю, этому трудно поверить, но нельзя не верить человеку только потому, что вы или ваш сосед поступили бы иначе. Да и кто посмеет утверждать, что он непременно поступил бы иначе? Ведь и у меня ничего подобного на уме не было. Все получилось само собой.

Это было в четверг, девятнадцатого апреля. Якобинцы называли этот месяц прериалем — месяцем трав. Мы сидели в сто девятнадцатой аудитории, огромной, как безлюдный стадион. Я не знаю, почему он выбрал именно эту аудиторию. Здесь он читает лекции физикам, химикам, математикам. Может быть, поэтому.

Я положил справа от себя стопку конспектов: Маркс, Энгельс, Ленин, Чернышевский, Герцен, Спиноза, Гегель, Фейербах, отчетные доклады ЦК, начиная с XX съезда и далее по порядку.

Перелистав тетради, он спросил:

— Сталина читали?

— Читал.

— И конспектировали?

— Нет.

Я думал, он спросит, почему, но он молчал. Молчание тоже может быть вопросом, и я объяснил: диамат и исмат — не устав караульной службы, этому нас учат Энгельс и Ленин.

— А Маркс?

— Я имел в виду специальные работы по философии.

Черт его знает, что со мной происходит: самые пустячные вопросы и банальнейшая улыбочка заставляют меня согнуть руку в локте и стиснуть пальцы.

— Запишите.

Пока я думал, он все играл со своими ключами: три и десять, пять и восемь, шесть и семь. За окном, внизу, город: люди, трамваи, провода, деревья; за окном, вверх, небо: птицы, облака, самолет и где-то подальше солнце. А между ними — четвертый этаж, сто девятнадцатая аудитория.

— Я готов.

Он кивнул головой: валяйте. Три и десять, пять и восемь, шесть и семь. Так или иначе — тринадцать. Надо проверить, сколько перестановок возможно из тринадцати.

— Будет, — он слегка хлопнул ладонь по столу. — Фрейда читали?

— Читал.

— Это видно. И Ницше читали?

— Нет. Ницше — нет.

— Нет?

— Нет. Я же сказал, нет.

Он прикрыл глаза.

Послушайте, да у него вовсе не веки, а пленки, очень плотные, как у саламандр.

— Фрейдизм — враждебное нам учение, фрейдисты — наши идейные враги. Сегодня, когда мы доказали возможность преодоления войны, идейная борьба приобретает небывалую остроту. Вы поняли, Орликов?

— Да, я понял, Филимон Григорьевич.

И что за мерзкая манера — разговаривать с человеком, закрыв глаза.

— Орликов, вы утверждали, что социальная жизнь человека — один из аспектов его биологической природы, что социальное — всего лишь частное проявление какого-то биологического абсолюта, стоящего над человеком и неподвластного ему...

— Я не говорил этого.

— ...вы утверждали, что кибернетические схемы, количественно усложняясь, образуют то, что мы именуем психикой, и, в конечном итоге, человеческим мышлением...

— Я не говорил этого.

— ...вы утверждали, что каждая человеческая особь подчи-

нена неким психо-атавистическим силам, которыми определяется не только наша наследственность, но, что еще важнее, определяется ее неизменчивость и, следовательно, извечное бессилие человека.

Если он сейчас же не откроет глаза...

— Орликов, говорят, вы не читаете Ленина.

— Вы смотрели конспекты. Вот они.

— Орликов, нас интересует мнение коллектива, а коллектив утверждает, что Орликов не читает Ленина, игнорирует лекции по истмату, зато штудирует Фрейда.

Если он сейчас же не откроет глаза...

— Орликов, истмат — не математический анализ.

— Знаю.

— Истмат — это наше идейное лицо. Мы не верим вам, Орликов.

— Вы!

— И я.

— Ты!

Один ты — Филимон Чупрун!

Кажется, он открыл глаза. Но это уже было после. Сначала пощечина — а глаза уже после. Но, возможно, я ошибаюсь, возможно, раньше были глаза.

Борька Орликов...

Борька Орликов...

Борька Орликов...

— Комсомольское собрание физико-математического факультета, осуждая пощечину, как недостойную советского студента форму протеста, объявляет комсомольцу Борису Орликову строгий выговор.

— Товарищи!

Нет!

Нет!

Нет!

Слово, как ком ртути, бесконечно дробясь, катилось по ярусам Октябрьской аудитории, и Филимон Чупрун, багровея от усилий, норовил пробиться сквозь это слово.

— Товарищи, я передаю дело в суд.

Суд, суд, суд — покатилося по ярусам.

— Товарищи, Орликов уже исключен. Ректор подписал приказ. Это позор, товарищи комсомольцы!

— Разрешите мне.

— Товарищи, я не кончил.

— Разрешите мне.

— Лунц просит слова.

— Дайте Лунцу слово. Он на костылях.

— Товарищи, Орликов — мой друг. Но я возмущен его поступком. Я говорил ему об этом. Но кто может поручиться, что доцент Чупрун не спровоцирует нового ЧП? И кто из нас может поручиться, что завтра он не сорвется так же, как Орликов?

Не может, не может, не может!

— Я предлагаю дополнение к резолюции: комсомольцы физмата просят ректора удалить доцента Чупруна с факультета.

— Кто — за? Единогласно: удалить с факультета.

Чупрун солгал: в тот день и еще целых три дня после этого я оставался студентом. Я мог оставаться им условно еще год с тем, чтобы через год, может быть, снова стать безусловным, если публично покаюсь перед доцентом Чупруном. За меня ходатайствовали трое. Ректор не назвал их имен, но сказал, что счел бы для себя великой честью заступничество этих ученых. Я не умею благодарить, я просто сообщил им — профессору Добровольскому, профессору Ходорову и доценту Булачевскому, — что поступаю на завод радиоэлектроники. Алла Андреевна тоже поступает на этот завод. Инженером.

Из комсомола меня поперли. Райком настоял. Сашке дали строгача: за подстрекательство. Болезнь пошла ему впрок: пожалели.

Вы думаете, я хоть чуточку сожалею о том, что произошло? Нет, честное слово, нет. Самое главное — ничего не преувеличивать.



Юлия ТРОЛЛЬ

ТРИ РАССКАЗА

БИЗНЕСМЕНЫ

Шота Пичхадзе сидел перед телевизором, курил сигарету и скучал. Фильм с участием Сиднея Пуатье его мало интересовал — слишком длинные монологи, из которых он понимал очень много слов, но не мог сложить ни одной целой фразы, требовали напряженного внимания, а Шота никак не мог сосредоточиться, поминутно отвлекаясь то одной, то другой незначительной, но властно владеющей всем его сознанием мыслью. Мысли возникали и исчезали неожиданно, как привидения, и были такими же призрачными, расплывчатыми, а порой и пугающими — то что-то ни с того ни с сего вспоминалось, то вдруг чего-то неясно хотелось, густым сизым туманом наплывали заботы, но тотчас уступали место пышным бархатным надеждам, а те, в свою очередь, — воспоминаниям и так далее.

Шота думал, но думал не интенсивно, не напряженно, а легко или, вернее, вяло. Он как бы предоставил возможность своему мозгу работать самостоятельно — мозг работал сам по себе, а Шота сидел, курил и скучал. Порой его путешествующий мозг заинтересовывался происходящим на экране телевизора, пытался вникнуть в сюжет фильма, но, как говорится, на самом интересном месте картина прерывалась, и по экрану текла густая мыльная пена — хорошенькая девушка, сладострастно намыливаясь, принимала душ; солидный господин жевал, мычал, облизывал толстые пальцы и закатывал глаза, старательно изображая восторг от вкусовых качеств, которыми обладал кусок бисквита; дети иступленно чистили зубы, жевали резинку, пили холодный чай.

Шота уже несколько раз мысленно порывался выключить телевизор и заняться чем-нибудь другим, но в действительности продолжал сидеть, смотреть и скучать.

Когда, наконец, фильм кончился и Шота окончательно убедился, что так все-таки и не понял, о чем же шла речь, он встал и выключил телевизор, затем подошел к окну и выглянул на улицу. Было девять часов вечера, но жара нисколько не спала, наоборот — протопленные за день кондиционерами улицы пылали жаром сильнее, чем днем. Прохожих видно не было, однако город не выглядел пустынным, может, оттого, что по обеим сторонам дороги плотно выстроились друг за другом автомобили всевозможных марок. Расстояния между задним бампером одной машины и передним другой были настолько малы, что, казалось, они только что сошли с конвейера и выставлены на продажу. Шота по привычке взглянул на желтый "чеккер", на месте ли его машина, не угнали ли?

Шесть месяцев назад, когда Шота купил такси, он был в полном смысле слова счастлив. Это не потому, что с детства мечтал стать шофером, просто, поразмыслив, он решил, что такси — самый лучший бизнес для эмигранта. Сначала он рьяно взялся, работал по шестнадцать часов в сутки, но последний месяц Шота был разочарован и такси, и самой жизнью в Америке, он смертельно устал и загрузил.

Шота отошел от окна, оглядел комнату, стараясь придумать, чем бы заняться. Вытирать пыль было лень, мыть посуду не хотелось, а о том, чтобы подмести пол или отчистить раковину в ванной, и речи быть не могло. Он хотел было опять включить телевизор, но вдруг подумал, что еще можно было бы почитать, и даже вспомнил, что когда-то он что-то читал. Шота сразу оживился, обрадовался и даже удивился, как же это он забыл о таком простом и вместе с тем гениальном средстве рассеяться и отвлечься.

В доме у него не было ни одной книги, он это знал наверняка, но желание его было настолько велико, что он стал осматривать шкафы и тумбочки в надежде найти хоть что-нибудь печатное. В прихожей он натолкнулся на целлофановую сумку, которую случайно забыла в его квартире одна молодая и малознакомая ему девушка. Она была у него месяц назад, и они прекрасно провели время. Потом он отвез ее домой и обещал позвонить, но не позвонил. Она тоже почему-то не звонила, хотя и имела достаточно убедительную причину для звонка — забытую сумку, в которой, правда, ничего особенного не было, кроме старой тетрадки по английскому языку и томика Леонида Андреева.

Шота извлек из целлофанового пакета книгу и, весело насмивая знакомую с детства песенку Дунаевского, припевом к которой служит перефразированная цитата из Евангелия, с наслаждением погрузился в сильно продавленное кресло и открыл наугад страницу.

"Чемоданов" — прочитал он заглавие рассказа и хотел перелистнуть дальше, но взгляд его упал ниже, и он прочитал следующее: "Многие не без основания полагают, что трагический Рок существует только для царей и героев, обыкновенные же маленькие люди находятся вне кругозора трагического Рока, не замечаются им и ни в каком отношении на счет не ставятся". Шота еще не понял до конца смысла фразы, но уже воспринял ее, как некое пророчество. Он прочитал то же самое еще, а потом еще раз, и ему стало не по себе. Шота, конечно, не был царским отпрыском, но, как утверждают его многочисленные родственники, он происходил из древнего

грузинского княжеского рода, так что тот самый Рок, который существует для царей и героев, мог существовать и для него.

Судьба Чемоданова его более не интересовала. Он живо вспомнил все, что оставил, в Грузии, и почувствовал себя королем в изгнании...

Зазвонил телефон, Шота снял трубку и услышал знакомое приветствие:

— Хай, Шота. — Это был Алик, который по-английски знал только одну фразу и начинал всегда с нее: "Ду ю хэв проблемс?"

— Но проблем, всео'кей! — ответил бесконечно обрадованный звонку Шота.

Почти каждый вечер он проводил у Алика, их связывало не столько родство душ, сколько близость расстояния между домами, в первую очередь, и во вторую то, что и тот, и другой пребывали в вечном поиске приличного бизнеса.

Вот и сейчас Шота стоял перед дверью, за которой слышался разноголосый шум гостей на фоне плохого качества магнитофонной записи песен Высоцкого. Дверь открыла Нонна, жена Алика.

— Добрый вечер, Мышка! — ласково сказал Шота Нонне, похожей скорее на кошку, чем на мышку.

Сидящие за столом были приблизительно одного возраста — кому под сорок, кому за сорок, за исключением одной милостливой старушки. Обычно, глядя на старую женщину, бывает трудно определить степень ее добродетели в молодости — все старушки чаще всего выглядят абсолютно безупречными в этом смысле. Фаина Семеновна же, сидящая за столом рядом со своим сыном Борисом, была на редкость кокетливая и, можно сказать, пикантная старушка, так что присутствие ее ни в ком не вызывало ощущения диссонанса.

— Подвинься, Мышка, я хочу сесть рядом с тобой, — обратился Шота на этот раз к Наде, похожей, скорее, на ворону, чем на мышку.

На столе стояла бутылка "Смирновской" водки, тарелка с яблочным пирогом, сыр и овощной салат в большой хрустальной миске.

Алик предложил выпить и энергично стал разливать по бокалам водку. Лишь, когда дошла очередь до Фаины Семеновны, спросил:

— А вы, Фаина Семеновна, выпьете немножко?

Вместо ответа Фаина Семеновна двумя руками придвинула к Алику свою рюмку, чтобы удобнее было наливать:

— Может быть, ты думаешь, что я берегу свое здоровье? Боря знает, берегу я его или нет в свои восемьдесят лет.

Фаина Семеновна посмотрела на всех, ожидая, что сейчас обязательно кто-нибудь скажет: "Да что вы? Не может быть! Вы так молодо выглядите!" Но ничего подобного не было сказано, и только Надя спросила:

— Нонночка, у тебя есть какой-нибудь сок? Я теперь пью только коктейли. Может, томатный есть? Тогда я сделаю "блади-Мэри".

— Нет, сока нет, есть кетчуп. — Нонна стояла у настель раскрытого холодильника и внимательно вглядывалась в его пустоту, соображая, что бы еще подать на стол.

— За что выпьем? — между тем спросил Шота, оглядывая присутствующих. — Может, за бизнес?

— За бизнес, — тотчас же согласился Алик. — Ну, как твоя "блади-Мэри"? — обратился он к Наде.

— Изумительно, — сказала Надя, предлагая наполнить рюмку.

— Нет уж, пей сама свою "блади-Мэри", — Алику явно доставляло удовольствие произносить название Надиного коктейля.

— Кто как, а я уже выпил! — неожиданно проснулся сын Фаины Семеновны Боря. — Я уже окончательно решил: покупаю ланчонет. Уеду к своему казэну в Филадельфию и открою там русский ланчонет. Казэн мне на первых порах поможет.

— Что же он тебе до сих пор не помог?

Борис даже не понял, кто задал вопрос, — склонившись над тарелкой, он продолжал дальше с набитым ртом, как будто и не слышал реплики. — Возьму с собой Ирку, она у меня такие пирожки с капустой будет печь, что американцы забудут про свои гамбургеры. Правда, Ира? Поедем? — обратился он к

своей давнишней приятельнице, которая сидела за другим концом стола.

— Оф коре. Боря! Почему бы нет? — с многообещающим видом ответила Ира.

— И правильно сделаете, Ирочка! — сказала Фаина Семеновна. — Боря изумительный человек, он удивительно похож на своего отца, моего покойного мужа. Я прожила со своим мужем пятьдесят семь лет и могу вам сказать, что другого такого человека нет. Боря тоже очень хороший, но ему далеко до своего отца. Правда, с него и спрашивать многое не приходится — ведь он родился, когда уже пришли большевики.

Боря принялся описывать все выгоды своего будущего предпринимательства. Алик, чтобы не сидеть без дела, наливал водку тем, кто уже выпил, и доливал тем, кто не допил. Ира потихоньку шептала рядом сидящей Нонне:

— Он мне про свой ланчонет уже полгода зудит, но я, естественно, никуда не собираюсь — ты ж понимаешь! У него сегодня ланчонет, а завтра — химчистка. И никакой казэн ему не поможет.

— А сам я буду сибирские пельмени делать, — продолжал Боря.

— Слушай, Нонна, — перебил его Алик, — посмотри в холодильнике^ нас колбасы какой-нибудь не лежит?

— Мне кажется, кто-то уже открыл русский ресторан, — сказал Шота, — он вроде бы так и называется: "Хау ар ю, пирожок".

— Прогорели, — скучаяще сообщила Надя.

— А почему? — парировал Боря. — Потому, что надо уезжать из Нью-Йорка.

— Что бы еще такое придумать? — Алик произнес вслух фразу, которая преследовала его последнее время. — Давайте, вспомним, что является нашей национальной гордостью, что-нибудь русское, чего нет у них.

— Массового производства бюстов Ленина здесь нет, остальное все есть, — сострила Нонна, но никто не засмеялся.

— Алик, ну что ты зря спрашиваешь? — сказала Ира. — Ты же знаешь, что является нашей национальной гордостью —

космические ракеты и балет. "И даже в области балета мы впереди планеты всей", но ракету ты не построишь, это точно, а танцевать ты тоже не умеешь.

— Танцевать я совсем разучился... — фальшиво пропел Алик и обратился к Нонне, — Нонна, включи проигрыватель, зачем ты его выключила?

— Ой, Алик, уже голова болит от музыки. Что? Опять Высоцкого?

— Нет, давай Мордасову, — почувствовав прилив ностальгии, сказал Алик.

Еще два года назад в московской квартире Алика по вечерам пел Франк Синатра, но теперь ни он, ни Нонна об этом уже не помнили.

"Ямщик, уныло напевая, качает буйной головой..." — протяжно запела почему-то не Мордасова, а Зыкина. Гости приумолкли и загрустили.

— Я знаю, что надо делать! — неожиданно громко, прервав общее затишье, сказал Шота. — Тапочки надо делать! Тапочки!

На лице его сияла улыбка гения. Так мог улыбаться только Архимед, когда произносил свое знаменитое "Эврика!"

— Какие тапочки? Что с тобой, Шота?

— Какие тапочки? Балетные тапочки. Русские балетные тапочки. Мы им знаешь, какую рекламу дадим! Советский балет лучший в мире, значит и русские тапочки должны быть лучшими в мире.

— А что, это мысль! — загорелся Алик.

Все возбужденно заговорили, перебивая друг друга.

Алика занимала сугубо математическая, вернее, финансовая сторона дела, он старался хотя бы приблизительно прикинуть будущие расходы-доходы.

Шота видел все решение вопроса в рекламе и предлагал по этому поводу завязать знакомство и переговоры с Нуриевым, Барышниковым и Баланчиным.

У Бори закралось сомнение, стоит ли возиться с пирожками и пельменями. Может, пока они тут шумят и словоблудят,

уехать в Филадельфию и там организовать продажу лучших в мире балетных туфель.

Нонна была просто счастлива, видя, что Алик преобразился до такой степени, что забыл про свою налитую до краев рюмку.

У Иры вдруг разболелась голова. Она уже столько раз слышала всевозможные проекты и подсчеты, что это вызвало у нее прилив скептицизма. Она не была пессимистка, но ее мечты были, если можно так сказать, более возвышенными — брак с приличным американцем и никаких тапочек и никаких пирожков с капустой!

Надя приготовила себе уже третий по счету коктейль с кетчупом.

Вдруг кто-то позвонил в дверь.

— Это, наверное, Марина, — сказал Алик, продолжая дальше свои подсчеты.

Нонна открыла дверь, и в квартиру стремительно ворвалась крупная серая собака, таща за собой на поводке крупную черноволосую женщину, и тут же бросилась непристойно обнюхивать хозяйку дома.

— Марина, что это? Где ты нашла эту собаку? — в ужасе спросила Нонна.

— Не нашла, а купила, — на ходу ответила та, и собака потащила ее дальше, прямо к столу.

— Марина, где ты нашла этого пса? — задал тот же вопрос Алик.

— Что значит "нашла"? Я его купила. Рикки, сит даун.

— Слушай, ответь, пожалуйста, а зачем тебе понадобилась собака? — спросил Шота.

— Сит даун, Рикки! Я кому сказала?

Но собака не садилась, а продолжала обнюхивать всех по очереди.

— Ты спрашиваешь, зачем она мне? А ты посмотри — все американцы имеют собак! А мне она к тому же для разговорной практики нужна, Рикки понимает только по-английски.

Кам он, Рикки, кам он! Ты что не слышишь? Я же тебе говорю: кам он!

— Давай, я ее в ванной закрою, — предложила Нонна, видя, что собака не слушается. — Видишь, она ничего не понимает,

— Это она-то не понимает? — возмутилась Марина. — Да она понимает больше всех нас! Ну-ка, Рикки, перестань, ты мне весь дресс испачкаешь своими лапами.

Собака брякнулась на пол всем телом и успокоилась.

— А почему Эдик не пришел? — спросил Борис про Мариного мужа. — Поссорились?

— Ноу, ноу, Эдвард работает, он теперь рано не возвращается — бабки нужны, бабки! Мы художественную школу открываем. Академию. Уже присмотрели помещение. — Марина победоносно оглядела присутствующих.

— Что же, на такси он больше не будет работать? — спросил Шота.

— Ноу, ноу, такси остается. Школа — это только три-четыре часа, днем он поваляет, ночью самая работа на такси. Мне, честно говоря, эта школа не нужна — я же понимаю, что Эдвард будет учить, а вкалывать-то придется мне. Ноу, мешки с гипсом таскать не буду, но все остальное будет на мне. Но я согласна на это ради Эдварда. Теперь только уан проблем — найти американца, который бы дал деньги. В принципе, я представляю себе эту кухню, испириенс у меня есть. Не зря же я была старшей пионервожатой, так сказать, руководящий опыт...

— А вы знаете, Мариночка, — перебила ее Фаина Семеновна, — я так сразу и подумала, когда увидела вас с этой овчаркой. Но как вам удалось уехать, если вы имели такой чин?

— О чем вы, Фаина Семеновна?

— Ну, как же? Вы же только что сказали, что были старшим сержантом.

— Старшей пионервожатой! Старшей пионервожатой, а не сержантом! — Марина старалась говорить как можно внятно, чтобы Фаина Семеновна ее услышала.

Собака вскочила и начала неистово лаять.

Во втором часу ночи стали расходиться по домам. Алик и Нонна вышли проводить гостей до лифта, и из распахнутой двери неслась любимая песня Чапаева:

**"Черный ворон, ты не вейся
Над моею головой..."**

Шота вернулся домой, включил свет и хотел уже было раздеться и лечь спать, как вдруг заметил оставленную в кресле книгу. Настроение его тут же испортилось, спать расхотелось, и он набрал номер телефона Нади.

— Не спишь еще, Мышка? Слушай, как ты считаешь, этот мой бизнес с тапочками получится? Как, по-твоему?

КОЖАНЫЙ ПИДЖАК

Лева Миркин, молодой человек лет сорока, сорока пяти, внештатный фотокорреспондент одного популярного производственно-технического журнала, в силу своей профессии и легкости характера, имел обширный круг друзей и знакомых. Будучи от природы человеком общительным, он легко находил общий язык абсолютно со всеми, с кем сводила его судьба или просто случай. Но, обладая хорошим музыкальным слухом и проучившись в детстве три года в районной музыкальной школе, Лева отдавал особое предпочтение своим друзьям из театрального мира — будь то заслуженный артист из "Театра Теней", куплетист-четочник из областной филармонии или художественный руководитель популярного на Западе танцевального ансамбля "Русский Каравай".

Это общество развратило вкус Миркина, и в его артистической натуре, помимо многочисленных разносторонних интересов, важное место занимало низменное желание оде-

ваться так же элегантно и красиво, как какой-нибудь акробат советского цирка.

Командировок за границу у него не было, но была приятельница Стэлла, которая обеспечивала его всеми необходимыми zahraniчными товарами в обмен на обыкновенные рубли, а вернее, сотни. Стэлла была незаменима. Еще ни одной женщине в мире не удавалось разорить такое количество мужчин, какое разорила она, но при этом все они считали ее своей благодетельницей. И, действительно, что стоят все их жалкие подношения, если взамен можно получить королевский подарок в виде американских джинсов или банлоновой рубашки. Не беда, что у Левы нередко бывало туговато с деньгами, зато в каком-нибудь Центральном Доме Журналистов, Работников Искусств или Кинематографии, сдавая в гардероб свою купленную у Стэллы канадскую дубленку, он сладостно ощущал свою принадлежность к элите, сердце его переполнялось гордостью, и он желал только одного — чтобы Стэлла как можно дольше не попадалась в лапы ОБХСС.

Когда после продолжительных и успешных гастролей по странам Африки в Москву вернулся прославленный ансамбль гусяров и ложечников, в моду немедленно вошли кожаные пиджаки. Миркин стал звонить Стэлле ежедневно, не забывая в то же время деликатно спрашивать у своих "выездных" друзей, не привезли ли они случайно лишнего пиджака. Но все было тщетно. Уже больше половины советской интеллигенции ходило в кожаных пиджаках, а Лева все никак не мог достать столь необходимую ему вещь и болезненно переживал свой позор наготы.

Стэлла старалась изо всех сил для своего давнишнего клиента и приятеля, но каждый с риском добытый ею пиджак оказывался либо мал, либо непомерно велик, то сильно поношен, то монгольского производства... А Миркину хотелось купить непременно "фирменный", да вдобавок ко всему еще и новый кожаный пиджак.

Как-то Стэлла позвонила ему сама и сказала, чтоб он срочно приезжал к ней на Рублевское шоссе. Было уже десять

часов вечера и тащиться в такую даль зазря ему не хотелось, поэтому он решил уточнить по телефону, какой именно товар ему предлагают.

— Ну что ты, не понимаешь, что ли? — раздраженно сказала Стэлла, будучи в полной уверенности, что ее телефон подслушивают. — Книжка у меня для тебя есть, "Кожа" называется. Понимаешь? "Шагреновая кожа".

Миркин, конечно, догадался, о чем идет речь, и помчался на Рублевское шоссе.

Когда Стэлла открыла ему дверь, он не очень удивился, увидев ее без грима с красными зареванными глазами и распухшим носом. Какой только ни приходилось Лева ее видеть — и с закрученными на бигуди волосами, и с яичной маской на лице, и с черными подтеками на щеках и на лбу от красящего шампуня. Поэтому он не стал спрашивать, что случилось, а прошел в комнату, по-свойски уселся на покрытый гобеленом югославский диван и, как опытный негодник, всеми силами стараясь не показать своей заинтересованности, чтобы Стэлла не заломила еще большую цену, сказал:

— Ну и далеко же ты, мать, живешь!

— Самый хороший район, — спокойно ответила Стэлла. — Правительственная трасса. У нас тут с судимостью не прописывают ни за какие взятки.

Миркин достал пачку "Столичных", закурил, помолчал. Стэлла сидела напротив него в кресле, курила "Кент" и тоже молчала. Тогда он не выдержал и сказал:

— Ну, показывай!

Стэлла посмотрела на него отрешенным взглядом и обреченно произнесла: — Нету его!

— Как, нету? — не поверил своим ушам Лева.

— Да ну! Воще, я не знаю! — сказала Стэлла и чуть не заплакала.

Тут только Миркин обратил внимание на ее вид и увидел на лице ее не результат очередного сеанса косметического ухода, а следы настоящего глубокого горя и отчаяния.

— Что случилось? — прошептал он, чуя, что произошло что-то непоправимое с его "шагреновой кожей".

— Да ну, воще! Я прямо не знаю... — повторяла Стэлла.

— А где Юра? — спросил Миркин, подумав, что, может быть, произошло что-то с ее мужем.

— Где, где? — разозлилась его обычно невозмутимая подруга. — На кухне он. Воще, ты его и спрашивай, пусть сам скажет.

Из кухни появился Юра, высокого роста, с огромными босыми ногами, в линялых джинсах и майке.

— Стэллочка, вот увидишь, будет хорошо. Я исправлю. Ничего страшного.

— Ребята, да что же все-таки произошло? — не выдержал Лева.

— Юрка его краской покрасил! — заорала Стэлла и с презрением посмотрела на мужа.

— Какой краской? — ничего не мог понять Миркин.

— Нитрокраской. Желтой. Ты же хотел рыжего цвета, вот Юрка и решил его покрасить, а он весь пятнами стал и твердый такой, что рукав не согнешь.

— Стэлла, вот увидишь, я исправлю. Будет хорошо, — лепетал Юра.

— Да ну, воще, я не знаю! Вещь-то чужая! Уж не брался бы, раз не умеешь. Вот теперь продавай ему свой пиджак! — быстро сообразила Стэлла.

— Стэллочка, но ведь мой ему велик... — испугался еще больше Юра.

— Ну, тогда я его все равно кому-нибудь загоню. Ты же испортил. А вещь чужая, деньги-то за нее отдавать придется.

Воцарилась минута молчания. Юра боялся не только произнести еще какое-нибудь слово утешения, но и пошевелиться, чтобы сделать два бесшумных шага по направлению к кухне, где ему ужасно хотелось снова скрыться.

— Покажите хотя бы, что вы натворили, — сказал Миркин.

— Пусть Юрка показывает!

— Не буду! — твердо заявил тот. — Вот сделаю, тогда покажу.

— Ты сделаешь, как же! Ты уже сделал, — в Стэлле закипала ненависть к своему бездарному мужу.

Лева подумал, что сейчас начнется крупный семейный скандал, поэтому хлопнул себя по коленкам и сказал:

— Ладно, ребята, я тогда поеду, а то уже поздно.

— Подожди, сейчас Тамара придет, принесет чего-то, — это было не в Стэллиных правилах отпускать клиента с пустыми руками.

В этот момент действительно позвонили. Юра опрометью бросился открывать дверь. Но это была не Тамара, а Лора Царицына, худенькая, маленькая, ростом с тринадцатилетнюю школьницу, травести из детского театра. Лора вошла в комнату, увидела Миркина и сказала ласково, голосом Красной Шапочки:

— Ой, Левушка! Здравствуй, дорогой!

— Привет, мать! — ответил Лева. — Ну, как ты? Чего нового?

— Даже не спрашивай. Совсем озверела — играю по три спектакля в день. Утром — "Репка", днем — "Теремок", вечером — "Айболит", и так каждый день, сейчас же каникулы. Скоро говорить совсем разучусь: целыми днями то кукарекаю, то хрюкаю, то лаю.

Лора Царицына была известной актрисой, за пятнадцать лет работы в театре она сыграла в первом составе все образы животного и растительного мира. Другой такой актрисы, умевшей, как Царицына, донести до зрителя всю гамму чувств Яблони, Рябины или Ежика, ни в одном театре не было. Кроме того, она недавно снялась в фильме, премьера состоялась вчера в Доме Кино.

— Стэллочка, что же ты не пришла вчера на просмотр? — обратилась Лора к хозяйке дома.

— Некогда было, я билеты племяннице отдала. Только... только ты меня перед ней опозорила.

— Я тебя? Чем же это, Стэлла?

— Она говорит: "Что же твоя артистка хуже всех одета была?"

— Стэлла, но я была в той самой кофте, которую у тебя за 70 рублей купила!

— Откуда же я могла знать, что ты в ней в Дом Кино пой-

дешь? Ну, ладно, ты не расстраивайся — я ей сказала, что ты артистка-то хорошая, просто у тебя размер неходовой.

В дверь опять позвонили. На этот раз пришла Тамара с огромной туго набитой сумкой. Тамара была высокой ярко крашенной блондинкой. Когда-то она удачно вышла замуж за известного футболиста, но вскоре разошлась с ним и сейчас снова собиралась выйти замуж за американца, с которым познакомилась на выставке в Сокольниках. Это была в полном смысле слова завидная партия, вдобавок ко всему жёных любил её безумно. В его представлении в ней прекрасно сочетались настоящая русская красота, восточный темперамент и деловые американские качества.

— Привет, славяне! — с легким оттенком пренебрежения сказала Тамара. — Вот, все забрала. Одну рубашку ему оставила, одни брюки и один пиджак. Все равно скоро уезжает — там купит.

Тамара раскрыла сумку и с видом фокусника, достающего из цилиндра живых кроликов, вытащила оттуда замшевое пальто, твидовый пиджак, вельветовые брюки, несколько свитеров, рубашек, галстуков и прочих предметов мужской одежды.

— Ой, какие красивые брюки! Какой это размер? У моего Толика совсем нету брюк, — сказала Лора. — Как ты думаешь, Стэллочка, эти ему будут хороши?

Стэлла хотела сказать: "Ты мне за кофту еще не все отдала. Опять, что ли, в долг хочешь?", но вслух произнесла более дипломатично:

— Они Леве будут хорошо. Лева, походи в ванную, примерь!

— Стэлла, ты же знаешь, что мне не брюки нужны, — Лева решил на сей раз не поддаваться соблазнам, заранее догадываясь, во сколько ему это обойдется.

— А чего тебе надо? — спросила Тамара. — Мой Ричард через месяц опять придет, я ему закажу, он привезет.

— Кожаный пиджак ему надо, — ответила Стэлла. — Кстати, скажи своему штатнику, чтоб привез их штук десять.

— Ты что, Стэлла? Десять не пропустят.

— И брюки 48 размера пусть привезет, Тamarочка. У моего

Толика совсем нет брюк, а эти ему, пожалуй, велики будут.

В комнату вошел Юра с подносом в руках и поставил на журнальный столик пять чашек кофе.

— Ой, какой изумительный подносик! А у меня нет ни одного подноса, — с восхищением сказала Лора.

— Подносы пусть тоже прихватит, они хорошо идут, — не обращая внимания на Лорин восторг, отдала приказание Стэлла.

Все склонились над чашками и ненадолго замолчали.

Минут через сорок все столпились в прихожей и стали прощаться.

— Ну, пока!

— Звони!

— Я на днях забегу.

— Если что, тут же дай знать!

— Ну, пошли, славяне!

— Тише, вы, тише! Сейчас соседи выскочут, — Стэлла открыла дверь.

Все замолчали и гуськом, стараясь не стучать каблучками, пошли по коридору к лифту. Впереди шла Тамара с огромной пустой сумкой на широком спортивном плече, за ней — Лева, зажав под мышкой целлофановый пакет с вельветовыми брюками; замыкала шествие Лора Царицына, стараясь не стукнуть обо что-нибудь подносом, она семенила походкой маленькой серой мышки из спектакля "Репка".

...Через месяц московской таможней было конфисковано почти все содержимое обоих чемоданов американского гражданина Ричарда К.

Через шесть месяцев Стэлла была арестована за подрыв экономической мощи советского государства.

Через год Лева Миркин эмигрировал и в Италии купил себе кожаный пиджак рыжего цвета.

ПИСЬМО

Разложив на столе чистые листы почтовой бумаги, Лиза Вельдман достала из кармана халата полученное утром письмо от подруги и села писать ответ.

"Дорогая Аня! Сегодня получила от тебя письмо, пришло оно на этот раз удивительно быстро — ровно через две недели".

Лиза перестала писать, взяла в руки конверт и стала внимательно разглядывать штемпель с датой отправления. Письмо действительно шло две недели. "Как быстро!" — подумала Лиза, но вдруг обратила внимание на слово "авиа" и задумалась: "Разве это быстро? Ведь самолет летит несколько часов, а письмо идет четырнадцать дней?" Лиза вздохнула и продолжала писать дальше.

"Спасибо, что не забываешь меня и не ленишься писать. Ты даже не представляешь себе, с каким нетерпением я жду и с каким удовольствием читаю твои письма".

Действительно, каждый раз открывая по утрам почтовый ящик, Лиза ощущала легкое сердцебиение. Конверт так хорошо знакомого, отличного от других формата, со старательно выведенными латинскими буквами — вот то, что она хотела бы получать каждый день. Но почтовый ящик доставлял ей в основном разочарование, зияя своей пустотой, либо приносил огорчение, если оказывался набит обременяющими сердце и ум счетами за свет, газ, квартиру и телефон. Письма из Москвы приходили редко и были для нее большой радостью. Правда, последнее время письма становились все более и более скучными, все содержание их сводилось к тому, что все живы и здоровы, новостей никаких нет, за исключением того, что кто-то кого-то встретил, и тот спрашивал о ней, и просил передать в письме привет. Но кто кого встретил, догадаться было трудно, а порой просто невозможно, так как все имена были вымышлены, а профессии законспирированы. Впрочем, многое Лизе удавалось расшифровать. Например, ей удалось понять из последнего письма, что ее приятельни-

ца Наташа Ветрова, которая мечтала сделать фиктивный брак для того, чтобы уехать в Америку, нашла все-таки себе спутника и уже готовится к отъезду, пока ждет получения визы. В письме это сообщение выглядело так: "Дорогая Лиза, — писала Аня, — сообщаю тебе последнюю новость, что Ветреница Маша выходит, наконец, замуж, уже подали заявление в ЗАГС и, как только получат свидетельства, поедут в свадебное путешествие".

У Лизы не было никаких сомнений, что документы Наташи, а не какой-то там никому не известной Маши, лежат не в ЗАГСе, а в ОВИРе и что она ждет не брачное свидетельство, а разрешение на выезд. Дальше было написано: "Говорят, на свадьбу полагается дарить льняные простыни, янтарь, сувениры. Так ли это? Как ты думаешь и что посоветуешь?"

Лиза мгновенно поняла, какой именно совет от нее ждут. Было время, когда она сама ездила к знакомым и друзьям послушать письмо из-за границы. Заговорщики собирались, как правило, на квартире какого-нибудь смельчака, уже подавшего документы в ОВИР и чувствовавшего себя тем самым пьяным, которому море по колено. Письмо давалось в руки кому-нибудь с громким голосом, внятным произношением и умеющему разбирать чужой почерк и читалось вслух. Обычно вначале чтение по нескольку раз прерывалось — в дверь звонили, хозяйка поспешно шла открывать, и в комнату робко входили все новые и новые лица. Хозяин представлял их собравшимся, как вполне благонадежных, абсолютно "своих" людей. Те, что сидели на диване, усаживались плотнее, чтобы дать место вновь прибывшим, те, кто сидел за столом, шумно двигали стульями, пропуская хозяйку, несущую из кухни табуретку. После этого чтение возобновлялось. Жены, достав из сумочек листки бумаги, быстро записывали ценные указания; мужчины, полагаясь на свою память, курили, мечтательно глядя в потолок и стараясь запечатлеть основные пункты содержания письма на своих табличках. Потом письмо шло по кругу, передавалось из рук в руки, женщины делали поправки и прибавки в своих записях, сверяя их с оригиналом. Наконец, хозяин аккуратно

складывал письмо и прятал его обратно в конверт, зная, что еще не раз будут у него собираться люди разных возрастов и профессий, но объединенные одним неугасимым стремлением.

"Дорогая Аня, — писала Лиза, — передай Маше, что очень хорошо брать с собой в свадебное путешествие английские словари. Говорят, что это старинная индейская примета, в которую свято верила еще дочь Монтесумы. В последнее время про этот предрассудок многие забыли, но старые люди говорят, что это приносит счастье".

Лиза вспомнила, как она перед отъездом носилась по Москве и чуть ли не ежедневно заезжала на Комсомольский проспект, чтобы купить побольше матрешек, хохломы, палехских шкатулок и тому подобное, но почему-то совсем забыла купить английский словарь. Однако решив, что одного этого совета будет недостаточно, что он покажется ее подругам слишком нравоучительным, она зашифровала следующее.

"Кроме того, передай Маше пусть непременно купит фотоаппарат "Зенит ЕМ", нельзя же не иметь свадебных фотографий! А если во время путешествия они забредут в какой-нибудь музей, то без полевого бинокля им просто не обойтись, так как потолочную роспись и фрески лучше всего разглядывать в бинокль".

Лиза опять перестала писать и предалась воспоминаниям о прекрасной Италии. Первое, что она вспомнила, это, как сразу по приезде в гостиницу ее окружили какие-то люди и стали спрашивать, что у нее в чемоданах. Брожение по коридору этих личностей сначала напугало ее, но вскоре половина ее багажа перешла к ним, а у Лизы появились миллионы иностранной валюты. Потом, правда, она стала называть каждый свой миллион лир рублем, но дорожила им так же, как миллионом. Затем она вспомнила рынок, Колизей, еще один рынок, который все называли "Американо", почту и какую-то площадь, кажется, ту, которую она видела в фильме "Девушки с площади Испании". Нет, два месяца для такого рода слишком мало, да и голова не тем была забита", — с

сожалением подумала Лиза. Вот, если бы она сейчас оказалась в Италии, то уж непременно потратила бы все свои деньги на музеи. Но тогда... тогда каждая витрина магазина казалась ей прекраснее любого произведения искусства. Сначала хлеба, потом — зрелищ! "Ладно, — успокоила себя она, — еще побываю в Риме и тогда уж рассмотрю как следует все площади, все форумы, арки и холмы".

В конце письма Аня спрашивала Лизу о ее личной жизни, о любви. Лизе бы очень хотелось написать ей что-нибудь наподобие того, что описывала госпожа де Р. в своем письме госпоже де С., но, увы, ответ Лизы по этому пункту несколько не походил на письмо прекрасной графини времен рококо. К сожалению, прекрасный Сильф Лизу еще не посетил, и ее неприступность не подвергалась столь сильному искушению.

"На личном фронте — сплошная напряженка..." — коротко и ясно, называя вещи своими именами, отвечала Лиза.

Исписав лист с обеих сторон, Лиза не стала начинать новый, а на узеньких полях его мелким почерком, едва разборчиво, обрамила написанное последней, округло заворачивающей на углах страницы фразой: "В другой раз напишу обо всем подробнее, а пока целую тебя, пиши. Лиза". Потом перевернула лист на другую сторону и украсила ее точно таким же орнаментом, передав всем своим друзьям и знакомым горячие приветы.

Написав адрес и приклеив марку, Лиза встала из-за стола, отнесла письмо в прихожую и там поставила его на столике, прислонив к зеркалу, с тем, чтобы не забыть опустить завтра утром по дороге на работу. Потом вернулась в комнату, уселась с ногами на диван и вдруг почувствовала, что проголодалась. Она опять встала, прошла в кухню и, открыв холодильник, долго держала его распахнутым, придумывая, что бы такое съесть повкуснее. Увидев пакет молока, она вспомнила, как когда-то в детстве ела накрошенную разбухшую в молоке булку. Лиза в одну минуту приготовила себе это несложное кушанье и с аппетитом принялась есть. Но то ли память ее идеализировала давно забытые ощущения, то ли американское молоко обладало несколько другим вку-

сом, только Лиза почувствовала себя разочарованной. Она с трудом доела то, что было в стакане, быстро убрала со стола и стала стелить постель. Улегшись на неглаженные льняные простыни, Лиза закрыла глаза, думая, что сейчас заснет. Но вдруг перед ее глазами возник так хорошо знакомый ей Проспект Мира, улица, на которой она прожила большую половину жизни. Она ясно увидела идущие по проспекту троллейбусы, магазин для новобранцев "Весна", большой комиссионный магазин, напротив — магазин "Обувь" и выходящую из этого магазина на улицу очередь мерзнувших на морозе женщин. Лиза отчетливо увидела витрину этого магазина и выставленные на ней финские сапоги, с вывернутой наружу подкладкой из синтетического меха. Она даже увидела себя в этой очереди, обеспокоенную, нервно интересующуюся, какие размеры остались в продаже. И тут сердце у Лизы защемило от странной тоски, очень похожей на ностальгию. Она отправилась мысленно дальше по проспекту Мира: кинотеатр "Космос", высоко над входом на ветру развешается транспарант, а на нем огромными буквами: "Неделя итальянских фильмов". Вокруг полно народа, все дружелюбно настроены и ласково обращаются друг к другу: "Нет лишнего билетика?" Лиза проходит дальше, и вот уже Выставка и метро. Неожиданно, на одну лишь секунду, она ясно увидела желто-коричневый кафель облицовки так хорошо ей знакомой станции ВДНХ и тут же очутилась на Выставке. А на Выставке — фонтаны "Дружба народов", "Каменный цветок" и ярмарка! А на ярмарке чего только нет! В павильоне магазина "Подарки" дают румынские ситцевые халатики, рядом выбросили в продажу эмалированные кастрюли и тут же неподалеку — тушинские колготки, которые ничуть не хуже французских, а стоят всего 4 рубля 60 копеек.

Лизе стало вдруг больно и грустно, и так ей захотелось в Москву, хоть поглядеть на родные места, что она глубоко вздохнула, перевернулась на другой бок и, не успев ничего больше вспомнить, заснула. Однако сон ее был тревожным и тягостным, она металась из стороны в сторону, лоб пок-

рылся испариной, губы ее беззвучно что-то шептали. Наконец, ей удалось превозмочь сонную скованность своего перекошенного рта, и она дико закричала во сне: "Пустите меня, пустите меня!"

Ей снилось, что она в Москве, приехала туда как туристка, родственникам и друзьям привезла подарков, но вот настало время расставаться, она едет в аэропорт, там много народу, сутолока. Из громкоговорителя раздается голос: "Объявляется посадка на рейс 715, вылетающий по маршруту Москва—Нью-Йорк". Лиза протискивается сквозь толпу к девушке в авиационной форме. "Ваш билет?" — спрашивает та. Лиза лихорадочно роется в сумочке, но билета там нет. "Отойдите, гражданочка, не мешайте производить посадку!" — говорит девушка. "У меня был билет,— объясняет ей Лиза,— не знаю, куда он мог запропасться." "Не мешайте производить посадку!" — повторяет девушка в форме и слегка отталкивает Лизу в сторону. "Девушка, у меня есть билет",— все больше волнуясь, говорит Лиза. "Я вам не девушка,— возмущается та.— Отойдите, гражданка, а то я сержанта позову, если Вы так не понимаете."

Лиза видит, как она подносит к губам свисток, и рядом с ней появляется фигура пожилого человека в милицмейской форме.

"Товарищ сержант,— обращается к нему девушка,— помогите навести порядок. Эта вот гражданка, вероятно, захотела пятнадцать суток получить, хочет без билета улететь! Я ее не пускаю, так она тут буянит, да еще обзывается!" "У меня был билет, честное слово", — говорит Лиза милиционеру и начинает плакать. Сержант смотрит на нее участливо и говорит девушке в форме: "Может, поверим гражданочке? Видите, как она бедная убивается, а там, глядишь, успокоится и найдет свой билет." "Что это такое вы говорите, товарищ сержант! — отвечает ему девушка. — Да если каждому на слово верить, всех без билета пускать, то вся Москва опустеет — это же международный рейс! Я бы на вашем месте лучше проверила личность этой гражданки!"

После этих слов доброе розовое лицо сержанта сделалось бледным с сероватым металлическим оттенком, он взял под козырек, потом взял Лизу под локоток и повел ее по длинному залу аэропорта мимо ожидающих своего рейса пассажиров, мимо огромных багажных весов, табачного киоска и кафе-самообслуживания.

Вдруг голос из громкоговорителя пронзительно возвестил: "Внимание, внимание! Заканчивается посадка на самолет, вылетающий рейсом Москва — Нью-Йорк".

У Лизы подкосились ноги, сердце замерло, она посмотрела вверх, чтобы узнать, сколько минут осталось до вылета, но часов не увидела. Под потолком висело лишь красное полотнище, на котором крупными белыми буквами обреченно, с грустной безнадежностью сообщалось: Победа коммунизма неизбежна.

Сержант, крепко стиснув Лизину руку, умело вел ее, как опытный партнер в танце, к маленькой дверце в конце зала, на которой в застекленной рамке висела надпись "Штаб народной дружины",

"Бежать, — подумала Лиза, — бежать, пока не поздно!" Она резко рванулась, но пальцы сержанта только сильнее сомкнулись выше ее локтя.

"Пустите меня, пустите меня!" — пронзительно закричала она и рванулась всем телом еще раз с такой силой, что стукнулась запястьем о тумбочку, стоящую рядом с ее кроватью. Проснувшись, Лиза долго не могла поверить, что все это только сон, что она никуда не уезжала, а живет у себя в Америке, своем родном Квинске.

**ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
НА ЕДИНСТВЕННУЮ ЕЖЕДНЕВНУЮ
ГАЗЕТУ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ**

НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО
под редакцией АНДРЕЯ СЕДЫХ
69 г о д издания

Подписная цена на 1 год 70 долларов
Воскресное издание только 35 долларов

Воздушной почтой ежедневное и воскресное
издание 180 долларов.

Чеки выписывать на имя:
"NOVOYE RUSSKOYE SLOVO"
и направлять по адресу:
243 WEST 56 STREET
NEW YORK, N. Y. 10019, USA

*В Новом Русском Слове сотрудничают
лучшие литературные силы эмиграции.
Газета имеет собственных корреспондентов
в Иерусалиме и Тель-Авиве.*



Илья БОКШТЕЙН

ГОРНИСТ НА ЛАМПЕ

Я вас люблю
 Мне больше нечего сказать
 Я вас молю мне лишь улыбку передать
 Не рассержу своим признанием опять
 Опять прошу — одну улыбку передать
 У вас их тьма, а мне достаточно ей-ей,
 Едва заметной — чуть моей.

* * *

Черные волосы хвостами горностаев
 Касались шахматных квадратов на столах,
 А по столам кружились попугаи —
 Стоял голубоглазый шум в дверях
 Неловкий мальчик Веру свою встретив
 Играет восхищенья не тая
 И простенькой уловки не заметив,
 Он отдал ей за пешку короля.

Она назад вернула жертву эту
 Внимательнее будь, твоя игра,
 Ты сделай шах вот здесь —
 Защиты нет тут —
 Я долго буду думать до утра.

СЮРДАЛЬ-15

Сложил листок без слез без сил
 Уткой на столе
 Я много весен переплыл
 По сморщенной земле
 И вот последнюю весну
 Встречаю, может быть,
 Уйду в бездонную страну
 Чтоб землю позабыть.
 Земля уснула на скале
 Восход ее закрыл
 Я слышал всплеск
 Утиных крыл
 На письменном столе.

* * *

Я увиделся с Богом
 Чуть светлеет в уме тишина
 Чувствует смерть - ударами смеха
 Тихо сыплется, сыплется хрупкое дерево сна
 Какая природа согрела
 Каплей сознания мой прах
 Ласкать это тонкое тело
 И думать о дальних мирах
 Смотрю на тебя из Ничто,
 Как будто рожден по желанию
 Как будто особым ключом
 Доверено мне мирозданье
 На меня снизошло озаренье

И чуть светлеет в уме тишина
 В чуткости тонкая веточка сна
 Трепещет под смехом уничтоженья.

* * *

Вспышка на окне искрится
 Озаряя дальний лес
 Летит, в форточку стучится
 Слезы веток на стекле
 Сквозь замок так больно светит
 Дверь так жалобно скребет
 Снежный ветер меня встретит
 И за вечер позовет.

* * *

Не взаимность в переписке чуть теплей
 В очертаньях губ там чудится елей
 Льстивости обиняков нежней
 Глубины идущего навстречу ей
 Рыданья горячей.

* * *

Свет из ветки корягу обнюхал,
 Нос древесный оброс бирюзой
 Зарычал, облизав свое брюхо
 Волк — безлистого детства герой.
 Паруса за лесами видны
 От харкотины красной волны
 Покачал головой
 В лодке жук-часовой
 На кольце — ободке тишины.

* * *

Поэт сказал: стихи растут из сора
 От случая зависим идеал
 Поэтому поэтов хоры
 Меня бросают в обморок, хоть знаю
 Послушав их — я б сам поэтом стал
 Хоралы освистал.

* * *

По дороге двое шли
 Одинокого нашли
 Одинаково качаясь
 Разошлись.

* * *

Жизнь, что была нам мала
 Молитвой резца создаем
 Лицо поднимает скала
 Когда под плитой мы цветом.

* * *

А что, если нет ничего,
 А все — лишь предчувствие чуда —
 Оно видится мне таково:
 С Господом вечно пребуду.

* * *

Дуб забрезжил у окна
 В колокол, минуя святцы,
 Бьется маятник в канат,
 Натяженный рассмеяться,
 Окантованный дымками —

Ангелами папирос,
 Окруженные свечами —
 Минаретами волос.
 Кольцами плетут леса,
 В их проколах утопиться,
 Бьется в озере коса —
 Лопуховая девица
 Одевается на пнях
 Льном болотистого рая —
 Чашкой лилии звенят —
 Удивление рыдает
 Мой Спаситель обойдет
 Сцену трех тысячелетий
 Самый тихий идиот
 Станет Мышкиным навеки.

ИСКУССТВО

Темнеет жизнь, и смерть, и песни
 В виске один болванчик бесится
 Другой вращается во сне.
 Бежит тоска к часам в стене
 Реветь от вездесущей скуки
 Скатился в душную постель
 Тревожат вкрадчивые руки
 Скрип настороженных петель,
 Там, за порогом смутные желанья,
 Растут, чуть тянутся... прошли
 Ночь, пустота открыв ладонь страданья
 Взошла цветком из-под земли
 Ум ждет необычайности холодным ртом расчета
 Членишь и, распознав, убить,
 Заколот в мозг зрачок вниманья
 Пить, ожиданье раскалить,
 И незаметно возникает, округляясь за порогом
 Наитье — недотрогой зазвонить

Дверь по краям согнулась аркой
 Спиралью свет — сверлит глаза
 Замок зашевелился жаркий
 Сквозь скважину — картины замка
 А в замке высится слеза.
 Завыл восторг, глотая свечи
 Из стен трубою хор Богов
 Горнист на лампе солнце млечет
 В седины будущих веков
 Вмиг, в гуще книг проснулась ваза
 Из строчки выплеснув хрусталь
 Зрачок из масла — глобус красок
 Он север листьями украсил по стенам —
 Разлистались вдаль.
 И так легко, как будто леший
 Вдруг вышел из земли, неся,
 Не похоронную депешу,
 А деворожденных лисят.
 За лесом колья в позолоте
 Из улья шестигранник взял
 Пчела выходит, шмель на взлете
 Краснеет шкуркой полиняв.
 В бассейнах ребра — рыбы рожи
 Глазеют обручем луча
 Виденье чуда стало тоньше
 Висок поэту простроча,
 Как вены теплые колонны
 Самоубийцу в рай внесли
 И время в нуль петли бездонно
 Ушло, и выплыл Божий лик
 Сверхдалью новь затрепетала
 В ней жалкое "сегодня" пало
 Пред стариком в бессмертье виз
 Прошедшее в простор умчалось
 В коле колонна закачалась,
 Свирепый бой преобразала
 В обломок — Парфенона фриз



Елена ЩАПОВА

НЕМОЙ УКОР

* * *

Старая дева сидит на качалке
Просто без дела сидит
После обеда отправит к гадалке
Свой угасающий вид.
После гадалки слегка встрепенется
Игриво по парку пройдет
Ей изумленно вослед оглянется
Культурный рабочий народ.

Какой-то мальчишка
Совсем в жидком виде
Ей вдруг покажет язык
И что-то скабрезное ей пробормочет
Подвыпивший серый старик.

НЕМОЙ УКОР

95

А день был румяный
И кот без изъяна
На облаке ватном сидел
Король же трефовый
Совсем не суровый
Откуда-то с липы глядел

И старая дева
По имени Ева
Виляет усохшим задком
И слышится в шорохе
Листьев червовых
"Я был с ней когда-то знаком".

* * *

Это был лопух
Господи Бездарность
Я сама-то в пух
Превращусь на старость
Я зарю след
Под чужой сапог
А мой волос сед
Перейдет к другой

Сумасшедшая!
Потяни шнурок
Потяни шнурок
Позвони в звонок
И слуга всех стад
Принесет бокал
В нем не шоколад
А немой укор
Ты зачем всю жизнь
Проходила вслепь
Ты зачем умом
Понимала степь

И смешком чужим
 Прикрывала боль
 Не с руки большой
 Воровать огонь
 Вынь всю вонь могил
 Положи на стол
 А на завтра лишь
 Огурцов рассол
 Легкомыслие
 Говорила мать
 Ошибалась ты
 И за то страдать
 Разве может день
 Быть ко мне добрей
 Если в разный час
 Не найти друзей
 Расплескала всю
 По чужой нужде
 Белым голубем
 Не в своей вражде

Постоять в сенях
 И шепнуть звезде
 Первородный грех
 Не помог в судьбе
 Собирай возок
 Посылай гонца
 Не хочу лопух
 А хочу стрельца.

* * *

От постельного крахмала
 От английских лошадей
 От седого генерала
 До больных родных дверей

В чистом длинном каземате
 Он не ждет ее в халате
 Не приносит ужин Анна
 Не мурлычет тихо ванна
 Есть один бокал
 И тот
 Скоро медленно умрет

* * *

Гобелены
 Лениво шевелились,
 а может, пламя языки.
 Натурщица лежала на ковре,
 а может, на костре.
 Макалась кисть в вино,
 И волосы на полотно,
 а может, на огонь,
 мазками наносились.
 Быть может, суждено,
 а может, сожжено.

ЗИМА

Зима — это плаха.

Лед.

Холода.

Хозяин.

Собака.

Кусты и

Глаза
 холодные,
 думающие об одном
 с теплом о тепле,
 о жарком угле,
 лохматой постели,

пушистой жене...
Жене ли?
А может, пантере
в Женеве.
Да, там хорошо,
Но есть ли такое зверье?
А может, там норы
с норками вместе?
А может, горы
с лучом на агаве,
Не там ли народ племени Майи
кланяется лаве,
вулкану,
в жертву козла...
Нет, не надо, не нужно туда.
Хозяин, собака, зима, холода.

В ближайшее время выходит 3-е издание,
исправленное и дополненное
литературных воспоминаний
АНДРЕЯ СЕДЫХ

ДАЛЕКИЕ, БЛИЗКИЕ
(с иллюстрациями)

Воспоминания о Бунине, Шаляпине,
Алданове, Рахманинове, Бурцеве,
Ремизове, Глазунове, Кусевицком,
Шагале, Тэффи, Дон Аминадо,
Саше Черном и мн. др.

Цена 8 долларов с пересылкой.
Изд. Нового Русского Слова.
Заказы направлять по адресу:
Novoye Russkoye Slovo
243 West 56 St. N. Y. 10019.



Американское отделение журнала "Время и мы" обратилось к главному редактору "Нового Русского Слова" Андрею Седух с просьбой ответить на ряд вопросов журнала. Отвечая на них, Андрей Седух, известный на Западе писатель и редактор единственной в свободном мире ежедневной русской газеты, касается широкого круга тем, которые, по-видимому, вызовут интерес как у израильских, так и американских читателей журнала. Ниже приводится полный текст интервью.

Андрей СЕДУХ

НОВЫЕ ЭМИГРАНТЫ В АМЕРИКЕ

— Разрешите начать с нескольких общих вопросов. Как бы вы определили прежде всего феномен третьей эмиграции? И в чем отличия третьей эмиграции от первой и второй? Что представляет собой, наконец, социально-психологический тип нового эмигранта?

— Я лично думаю, что ни одна из трех эмиграций общего лица вообще не имеет, каждая из них страшно разнообразна по своему составу. Почему-то принято считать, что первая эмиграция состояла исключительно из генералов, военных, политических деятелей, представителей большой русской интеллигенции. В какой-то степени это, конечно, так. Были там и военные, и профессора, и политические деятели... Но ведь первая эмиграция насчитывала десятки, сотни тысяч простых русских людей: казаков, солдат, хлеборобов — людей, которые уходили вместе с армией, с обозами и которые в эмиграции продолжали трудовую жизнь — селились на фермах, садились за руль такси... Поэтому я всегда затрудняюсь дать тут

какую-то общую характеристику. То же самое можно сказать и о второй эмиграции, которая была довольно пестрой по своему составу. И это же, может быть, даже в большей степени относится к новой эмиграции. Во-первых, принято считать, что это чисто еврейская эмиграция. На самом деле, она — не чисто еврейская. Я считаю, что до двадцати процентов ее составляют русские (возможно, это не очень точно, ведь евреи, тоже русские) — поэтому, скажем, "великороссы". Об этом большей частью забывают или игнорируют этот факт. Во-вторых, в этой эмиграции есть люди, которые ушли по соображениям идейным, в знак протеста против тоталитарного режима. Есть такие, кто был просто изгнан властями. Это, прежде всего, относится к писателям — таким, как Солженицын, Максимов, Некрасов. Мы видим тут диссидентов, которые задыхались в России и которым хотелось настоящей свободы. Тут есть очень простые люди, не всегда первоклассные люди, которые промышляли, чем могли, еще в Советском Союзе и которые считали, что на Западе у них будут гораздо большие возможности устроить свою личную жизнь и благополучие. Они уехали из России в поисках этого благополучия, а совсем не оттого, что задыхались там от отсутствия свободы. Есть люди, которые уезжают потому, что опасаются за будущее своих детей, что их дети не смогут в России получить образование, найти работу. Это относится прежде всего к евреям, для которых будущее их детей всегда было исконной причиной ухода из России. Мы видим тут, наконец, людей, которые уехали потому, что власти в СССР перед ними просто поставили вопрос: или уедешь, или получишь пять лет лагерей. В результате получилась такая вот пестрая и очень многоликая картина.

— А как входят эти разные социальные группы в жизнь американского общества? Верно ли, что многие из новых эмигрантов оказываются в драматической ситуации?

— Я бы сказал так: две трети этих людей устраиваются в течение первых шести месяцев, но очень часто не по специальности. Врач, конечно, не сможет работать по своей специальности до тех пор, пока не сдаст экзамен. С серьезными

трудностями поначалу встречаются и инженеры. Какое-то ядро эмигрантов довольно быстро "схватывает" простую истину, что многие из тех профессий, которые они получили в Советском Союзе, в Америке просто не существуют, и поэтому нужно начинать жизнь сначала. Им это довольно упорно объясняют приехавшие раньше. В Америке эмигрант начинает снизу и поднимается до самого верха. Но нужны, конечно, упорство, труд, знание языка. Я могу назвать десятки имен русских эмигрантов, которые начали с самых низов и, в конце концов, достигли того, что стали крупными бизнесменами, президентами больших корпораций. Разумеется, эти люди никогда не появляются в редакции. Они сидят в своих домах, у экранов своих телевизоров, довольные жизнью. Я вижу большей частью неудачников, и среди неудачников есть, конечно, большое число людей, которые считают, что их жизнь обидела, что Америка не дала им того, на что они имели право рассчитывать. Я не думаю, что это справедливо. Иногда в редакцию приходит какой-то господин и на мой вопрос, что он делал раньше, отвечает: "Я экономист-плановик". Тогда я ему говорю: "Боюсь, что вам надо что-то придумать для себя новое, потому что экономисты-плановики из СССР здесь бесполезны, они не знают американской экономики, американских методов работы". И что же? Он обижается, говорит, что у него есть специальность, есть опыт. Кончается это, конечно, тем, что он или соглашается стать помощником бухгалтера, вести какие-то книги или что-нибудь в этом роде, или превращается в страшно озлобленного человека. В конце концов, он начинает получать какое-то пособие, которого хватает на то, чтобы не умереть с голода, но недостаточно, чтобы прилично жить. А ведь виной всему он сам, его нежелание перестроиться. Есть люди, которые принципиально не хотят работать. Я лично знаю таких людей, и у меня на языке довольно известные имена. Эти люди считают ниже своего достоинства изучать английский язык. Они, вероятно, думают, что скоро вернуться в Советский Союз. Но вы знаете, я в эмиграции уже пятьдесят восемь лет. И с первых же дней все говорили: "Весной будущего года — в Москве!" И годами

сидели на чемоданах. Такие же "чемоданные" настроения и у некоторых людей из новой эмиграции. Есть люди, которые озлоблены по своему характеру, замучены жизнью, или люди больные, старые, которым трудно приспособиться. Меня вообще угнетает, когда очень старые люди срываются и едут неизвестно куда, без знания языка, без профессии, без здоровья. Первое, что им требуется, — это больница, а больницы у нас плохие, оперироваться стоит колоссальных денег. Страховок у них никаких нет. Создается положение, из которого трудно найти выход. И это, по-моему, самое грустное явление. Правда, таким людям довольно быстро дают небольшую пенсию, если они подходят по возрасту, или открывают одну из программ социального призрения — и они как-то существуют. Но это, конечно, уже не то. Далее. Я не сомневаюсь, что, к несчастью, в число новых эмигрантов проникли и советские агенты, которые были посланы заранее. Их много, гораздо больше, чем думаем. Человеку, который в Советском Союзе был стукачом, очень легко остаться стукачом и здесь. Наконец, приехало много уголовных элементов. У меня вообще ощущение, что власти СССР, путем эмиграции, стараются избавиться от нежелательных элементов. Среди них много психически больных людей. Вторая группа — это абсолютные уголовники, которые, прибывая сюда, часто оказываются очень разочарованными. Я знаю несколько одесских карманников, их немного, пять-шесть человек, которые перед тем как приехали в Америку, побывали в Риме, "поработали" немного и уже успели посидеть там в тюрьме. Здесь тоже начали "работать" в автобусах и очень быстро разочаровались, потому что американцы не носят с собой денег. У них в кармане обычно — несколько долларов, чеки и кредитные карточки. Далеко на этом не уедешь. Тогда эти люди попросили документы и уехали в Германию. Я не хочу, чтобы из всего сказанного вы сделали вывод, неблагоприятный для новых эмигрантов. Повторяю: многие из них хорошо устроены и благословляют день и час, когда они приехали в Америку. Это не обязательно люди, ставшие инженерами или врачами, но они живут, имеют квартиры, обзавелись

автомобилями. Правда, у меня сложилось впечатление, что некоторые из новых эмигрантов разочарованы с точки зрения культурных интересов. Их запросы часто остаются неудовлетворенными в той степени, как это было в СССР. Театры?.. Во-первых, дорого, во-вторых, не понятен язык. Английские и американские книги тоже не всем доступны — и по цене и опять же потому, что многие не знают хорошо язык. Концерты — дорогое удовольствие. Особенно много жалоб идет из провинций. В Нью-Йорке есть все, что хотите. Даже на симфонический концерт можете пойти на верхний балкон за три-четыре доллара. Но в целом, люди, которые приехали из больших городов — Москвы, Ленинграда, — хотели бы, чтобы все это было более доступно и их культурные интересы удовлетворялись лучше.

— Жизнь в Советском Союзе настолько отличается от американской, что, может быть, в стремлении новых эмигрантов найти себе место в Соединенных Штатах есть что-то сходное с попыткой инфильтрироваться на другой планете? В то же время на этой "другой планете" уже много столетий жизнь идет по своим законам и нормам. Между людьми здесь уже давно распределены места и сферы влияния. Отсюда вопрос: не связаны ли трудности новых эмигрантов с необходимостью включиться в жестокую конкурентную борьбу. Возьмем крайние случаи — советологи, или специалисты в области советской экономики, или филологи-слависты. Странно было бы, если бы, скажем, профессор славянского языка или экономики Гарвардского или Колумбийского университета подал в отставку на том основании, что приехал какой-то специалист из Московского университета...

— Но никто от него этого и не требует. Америка настолько свободная страна, что каждый может делать то, что он хочет, на что он способен. В вашем случае нужно, чтобы советолог или какой-то иной советский ученый в достаточной степени знал язык, на котором ему придется преподавать или читать лекции, чтобы он знал здешние условия жизни. Мне, например, не нравится, когда даже очень известные люди, приехавшие из Советского Союза, не зная ни языка, ни истории стра-

ны, в которой совсем недавно живут, начинают судить о западной культуре, о кризисе демократии, утверждать, что Америка и Европа лишены всяких идеалов. Так они в общем привыкли судить о Западе, сидя в Советском Союзе, — что это-де потребительское общество, живущее в погоне за товарами и т. д. Это, конечно, очень поспешные выводы людей, которым иногда кажется, что в советских делах они разбираются лучше, чем, скажем, президент Картер или Киссинджер. На самом деле, у них просто элемент обиды за свое прошлое. Есть еще что-то не порванное с ним. Человек продолжает себя чувствовать частью России и подчас, сам того не замечая, болезненно реагирует на критику в ее адрес.

— Что же вы хотите, ведь все они, в конце концов, советские люди.

— Верно, все это советские люди. И они ищут свое место в новой жизни. Но если представить дело так, что они хотят просто устроиться в Америке, тогда это лишает эмиграцию всякого политического значения. Между тем, по каким бы мотивам люди ни покидали Россию, большинство из них все-таки думают о свободе, хотя и не всегда отдают себе отчет, в чем именно заключается эта свобода. Это ведь понятие довольно трудное. Я даже знаю весьма комичные случаи, как оно истолковывается разными людьми. Например, мне рассказывали, как группа новоприбывших устроила вечеринку, затянувшуюся до четырех часов утра, и когда соседи, возмущенные шумом, гамом и музыкой, не дававшей спать, позвонили в эту квартиру, то последовал ответ: "Простите, это свободная страна, и мы можем тут делать то, что хотим". Это, конечно, не совсем так — свобода не распространяется так далеко, чтобы в четыре утра устраивать кавардак и мешать людям спать. Но даже при том, что эмигранты увозят с собой из СССР свое советское сознание, от которого не так-то просто избавиться, что само понятие свободы многими из них истолковывается неверно, — при всем этом мне трудно согласиться с тем, что третья эмиграция — это эмиграция бытовиков. Ведь перешагнув порог ОВИРа, человек уже тем самым идет на слишком большой риск, совершает акт политического протеста...

— И все-таки, может быть, обратимся к некоторым бытовым, как вы их называете, вопросам — к вопросам устройства людей. Причем, некоторых конкретных профессий — ну, скажем, врачей, писателей, журналистов. Инженеров и людей техники пока оставим, с ними, по-видимому, обстоит легче...

— Вы берете самые "трудные" профессии. Действительно, среди этих категорий, может быть, наибольшее число неустроенных. Однако меня в этих случаях поражает другое: как люди бросаются с головой в такие авантюры, не будучи хорошо осведомленными, что их ждет на Западе. В конце концов, врач должен знать, что на Западе он не может стать врачом, пока не сдаст экзамен...

— Никто на Западе и не заботится, чтобы они были осведомлены. Скорее наоборот, если послушать, скажем, некоторые передачи "Голоса Америки" или "Би-Би-Си"...

— Но никто же не говорит врачам: "Приезжайте, вы здесь будете врачами". Им говорят: "Вы хотите свободу, приезжайте, здесь страна больших возможностей. И они открыты перед вами". Нужны только воля, терпение. Я вам ручаюсь, что пройдет несколько лет, и мы увидим множество американских врачей, которые выехали из Советского Союза. Рано или поздно, они все пройдут через экзамены. Так происходило всегда. Здесь, в Нью-Йорке, были десятки русских врачей, которые в первое время мучились, маляжничали. Я, например, знал группу врачей, которые вначале работали, как маляры, но все-таки сдали экзамены и даже открыли клиники.

— С врачами более или менее понятно. Но вот с писателями, журналистами?

— С писателями и журналистами дела несколько иные. Остается только сожалеть, что, уезжая из Советского Союза, они не осведомлены о реальном положении вещей. В Америке существует единственная ежедневная газета, наша. Ну еще, скажем, два толстых журнала. Раз или два в году эти люди могут здесь опубликоваться. Они могут напечататься в "Новом Русском Слове". А дальше?.. Значит, надо переключаться на английский язык. Журналист не может существовать с помощью переводов. Но язык требует времени и огромных усилий. И так, если хотите, в любой области.

— Разрешите теперь перейти к теме, которую можно было бы назвать абсорбцией в условиях Америки, к организациям, занимающимся этой абсорбцией. Удастся ли им облегчить судьбу эмигрантов, и делают ли они для этого все необходимое?

— В целом эти организации делают большое дело, но я обвиняю их в том же, в чем израильские олим обвиняют Министерство абсорбции. Работа этих организаций, как правило, приобретает казенный, бюрократический характер. Казалось бы, сюда идут те, кто получил специальную подготовку социальных работников. И идут не потому, что хотят больше зарабатывать, а по призванию, идут помогать. Так вот, они как-то очень быстро забывают о своем предназначении и начинают смотреть на тех, кто к ним обращается и кто не всегда, может быть, ведет себя лучшим образом, как на людей, которые созданы для того, чтобы отравлять им жизнь. Я нередко беседовал с руководителями этих организаций, например, Наяны. Старался объяснить им суть проблем и трудностей эмигрантов. И, надо сказать, встречал с их стороны сочувственное отношение. Но на низшем уровне все это как будто кончалось. Перед вами просто чиновник — и ему смертельно надоела какая-то женщина, которая без конца приходит, ноет, которая плачет, требует, чтобы ей помогли вставить зубы или отправили в больницу. И вместо того, чтобы разобрататься, чиновник начинает кричать, командовать, выгоняет эту просительницу или просителя вон.

— И обиженный думает, что это и есть Америка. Это и есть настоящие американцы, ведь других-то он не знает...

— Да дело в том, что ему просто некуда идти. После того, как его обидят в одной организации и не примут в другой, он является в высший апелляционный суд — газету "Новое Русское Слово". И мы тратим значительную часть нашего рабочего дня на разговоры с людьми, которые попали сюда, потому что им некуда обратиться. Но ведь мы совсем не приспособлены для этой работы...

— Давайте теперь станем на точку зрения американцев. Оставим Наяну, чиновников и возьмем среднего американца, как он относится к эмиграции и эмигрантам?

— Я вам скажу, как он относится: любой из этих самых средних американцев прошел тяжелый путь, прежде чем занял свое положение в обществе. Как я уже говорил, в Америке считается — и справедливо считается, — что перед каждым открыты равные возможности, но в то же время каждый человек сам кузнец своего счастья.

— А разве в Америке нет элементов клановости, нет закрытых кланов, в которые никогда не сможет проникнуть эмигрант из России?

— Конечно, есть. Есть, скажем, рабочие униионы, настолько закрытые, что в них принимаются только дети членов унионов, и сюда, наверное, никогда не будет принят эмигрант из России. Но это, скорее, частности, а в общем положение такое: вся страна создана эмигрантами, и американцы этим гордятся, и когда вы начинаете на что-то сетовать, вам говорят: "Позвольте, мой дед приехал сюда — у него было два доллара в кармане, и он пошел грузить, а брат его работал на складе, а другой брат пошел строить дорогу". Они гордятся тем, что их предкам и даже им самим было очень трудно. Каждый американец вам расскажет, как он развозил газеты или как мальчишкой чистил сапоги на улице, и нет ничего зазорного в том, что такой же тяжелый путь пройдет любой из новых эмигрантов.

— Разрешите теперь коснуться одной из самых больших тем: речь идет о том, что половина эмигрантов из Советского Союза едет не в Израиль, а в Америку. Как вы понимаете, это вызывает серьезное беспокойство в Израиле, поскольку речь уже не идет о воссоединении семей, а просто о бегстве из России, согласитесь, что ситуация довольно непростая.

— Ситуация, действительно, непростая, но у меня взгляд очень простой: я считаю, что евреи, ищущие свободы, должны быть свободны в выборе того места, где они хотят жить, работать и умереть. Вы не можете всеми правдами и неправдами заставить евреев, выехавших из Советского Союза, например, жить в Ашкелоне. Я глубоко убежден, что сила Израиля заключается не в количестве эмигрантов, а в их качестве. В Израиль должны ехать люди убежденные, какими были в

свое время Трумпельдор и Бен-Гурион, люди, которые хотят жертвовать собой во имя идеи строительства еврейского государства. Сюда должны, наконец, ехать люди религиозные, связанные с еврейскими традициями. Но лишено всякого смысла заставлять сюда ехать тех, кто не знает даже еврейских праздников, кому чужда религия, чужды сами условия жизни в Израиле. Было бы большим несчастьем, если бы мы, евреи, заставляли людей ехать в Израиль помимо их воли. Поэтому я считаю, что всем, кто покидает Советский Союз, должна быть предоставлена полная свобода выбора. Это не значит, что все должны ехать в Америку. Кто-то хочет жить в Австралии или в Канаде, кто-то в Ново-Зеландии. В этом и есть смысл того, за что мы боролись — предоставить человеку возможность жить там, где он хочет, и никакие соображения Министерства абсорбции не могут быть приняты во внимание. Я должен сказать, что я сам являюсь членом ряда еврейских филантропических организаций, которые жертвуют в пользу нуждающегося еврейства. Но нигде не сказано, что они жертвуют только на устройство в ульпанах или олимовских квартирах. Так что я категорически против такого, например, предложения — пусть-де летят прямым полетом из России в Тель-Авив, без остановки в Вене или Риме, пусть побудут сколько-то времени в Израиле, понравится — останутся, выехать никогда не поздно. Но мы знаем, что выехать из Израиля далеко не просто. Не этим ли, прежде всего, объясняется, что триста тысяч израильских граждан, настоящих израильтян, из которых очень много сабр, живут постоянно в Америке. Они себя не очень хорошо чувствуют, но тем не менее продолжают здесь жить.

— Если будет продолжаться та же тенденция, то при существующем положении с абсорбцией и нынешней экономической ситуации страны мы можем столкнуться с фактом, когда не пятьдесят, а, может быть, семьдесят или восемьдесят процентов евреев поедут на Запад, и только двадцать — в Израиль.

— Лично я не стал бы особенно беспокоиться относительно существующего положения. Может быть, горько признаться в

этом, но я думаю, что, когда евреям в какой-то стране станет очень плохо, они обязательно поедут в Израиль. Изначально Израиль главным образом и был создан для того, чтобы стать убежищем для евреев, своего рода их крепостью. Евреи строили это государство и знали, для чего они его строят. Повторяю, именно такие люди и должны ехать в Израиль. Они не будут бежать отсюда потому, что им не дали квартиры в Ашкелоне или на какой-то улице в Иерусалиме. Наконец, не исключена большая эмиграция из стран Запада. Из Соединенных Штатов в Израиль ежегодно приезжают тысячи настоящих евреев, которые становятся куда более полноценными гражданами страны, чем те, кто едут сюда под давлением и здесь постоянно жалуются на жизнь.

— Но возвратимся все-таки к вопросу об эмиграции советских евреев, которые, получая израильские визы, не едут в Израиль. Хотелось бы услышать вашу точку зрения. Как изменить это положение? От кого это зависит? В Израиле существует мнение, что во многом повинны еврейские организации США, продолжающие оказывать помощь "прямым".

— Это, конечно, не так. Причины надо искать в Израиле и не перекладывать вину с больной головы на здоровую. Я хорошо знаю ситуацию, знаю, как еще и по сей день израильские чиновники относятся к новым эмигрантам, заставляют их ночами сидеть в аэропорту, обманывают. И это вместо того, чтобы дать людям почувствовать, что они приехали домой, а не куда-то, где их судьба и моральное состояние безразличны. Положение, по-видимому, изменится, когда структура общества и вся система абсорбции будут построены таким образом, что Израиль не на словах, не в пропагандистских брошюрах, а на деле станет привлекательным для новых эмигрантов.

— А что вы можете сказать о будущем третьей эмиграции в Соединенных Штатах? Ни для кого не секрет, что она растет из года в год и, по-видимому, будет расти в дальнейшем. Так вот, останется ли эта эмиграция более или менее стойким образованием внутри Америки или растворится, как и все предшествующие?

— Америка — это гигантский плавильный котел, где все переплавляется очень быстро. Огромное число людей из первой и второй эмиграции уже стали американцами, а их внуки не знают ни одного слова по-русски. Бывают, конечно, исключения. Кстати, евреи ассимилируются гораздо быстрее, чем русские. Русские люди, как правило, еще долгое время, по крайней мере дома, говорят по-русски. Достаточно сказать, что и сегодня в Америке есть два миллиона людей, которые при опросах заявили, что считают своим первым языком русский. Евреи, как правило, быстрее овладевают английским языком, осваивают американскую культуру, станвятся, как говорят, стопроцентными американцами. В Америке сегодня шесть миллионов евреев, и хорошо известно, что многие из них заняли ведущие позиции в политической жизни, в культурных сферах, особенно в университетах, в науке, среди американской профессуры.

— Но не приводит ли такое положение к росту антисемитизма в стране?

— Если и наблюдается усиление антисемитизма, то я не думаю, что причина в этом. Дело, скорее, в усилении арабского нефтяного влияния, в росте антиизраильской пропаганды. С другой стороны, если ощущается рост антисемитизма в эмиграции, то это, прежде всего, результат советской антисемитской пропаганды, которая подхватывается определенными кругами. Я должен сказать, что в первой эмиграции, как правило, не было антисемитизма, а если и был, то он тщательно скрывался — это считалось неприличным. В культурных слоях его просто не существовало. Тем более не приходится говорить о каких-то внутренних истоках антисемитизма в американском обществе. Напротив, его отсутствие является одной из самых замечательных традиций Америки, одним из ее самых достойных завоеваний, от которого она вряд ли когда-нибудь откажется.



Виктор ПОЛЬСКИЙ

В своей статье Виктор Польский в каком-то смысле продолжает разговор, начатый главным редактором газеты "Новое Русское Слово" Андреем Седых, разговор на тему: "Свобода и эмиграция". Рассматривая эту проблему как бы с другой, израильской точки зрения, автор помогает полнее и глубже в ней разобраться.

НЕИЗБЕЖНОЕ ГРАЖДАНСТВО ИЛИ СВОБОДА ВЫБОРА

Итак, речь пойдет о нешире, вызывающей столько дискуссий, бурных протестов, разноречивых оценок в еврейском, да и не только в еврейском мире. Драматический смысл этого явления для еврейского государства очевиден: люди, получающие визы для выезда в Израиль, на самом деле используют их лишь для того, чтобы уехать на Запад. Происходящее, может быть, и не вызывало бы такого беспокойства, если бы дело касалось единиц, десятков или, скажем, сотен людей. Но времена, когда абсолютное большинство ехало в Израиль, а на тех, кто "сворачивал в Вене" показывали пальцами— безвозвратно ушли в прошлое. Будем смотреть правде в глаза: нешира, родившаяся на волне патриотического, идейного стремления советских евреев уехать в Израиль, сегодня превратилась в нечто противоположное. Это просто желание уйти из тоталитарной России, впрочем, желание по-человечески очень понятное, но по своей сути не имеющее ничего общего с репатриацией в Израиль.

Чтобы показать, какой размах приняла нешира, я бы хотел привести лишь несколько цифр. В 1978 году из Советского Союза выехали по израильским визам 29 тысяч человек, 15 тысяч из них, то есть более пятидесяти процентов, отправились в страны Запада. За девять месяцев прошлого года израильские визы получили 19 тысяч человек, 10 тысяч из них составили ношрим. Это на сорок четыре процента превышает их число за тот же период 1977 года. А какие прогнозы на будущее? Число людей, которые выедут по израильским визам на Запад, составит примерно 24 тысячи человек. Иначе говоря, нешира вырастет на шестьдесят процентов. Эти цифры ставят под сомнение перспективы широкой еврейской иммиграции в Израиль. И, конечно же, они заслуживают того, чтобы их подвергнуть серьезному анализу.

Начнем с того, что представляют собой люди, "сворачивающие", как о них обычно говорят, в Вене. Не думаю, что эти ношрим представляют собой некую монолитную массу, уверенную в правильности избранного ими пути на Запад.

Насколько я знаю, даже еще в самолете или в поезде, на пути в Вену, многие продолжают колебаться — что делать дальше, лететь ли в Израиль или продолжать путь в Рим. Люди советуются друг с другом, возникают споры, которые заканчиваются очень часто не в пользу Израиля. Почему? Не потому ли, что далеко не все, покидающие Россию, хорошо информированы об израильской жизни? В самом деле, что они знают о ней? Каковы источники информации? В большинстве своем такими источниками являются письма новых репатриантов. Причем, пишут прежде всего те, кто недавно приехал в страну и уже по одной этой причине переживает трудности. Пишут о том, что плохо с квартирами, много бюрократизма, тяжело с работой. Я совсем не хочу сказать, что все это неправда. Но только надо принять во внимание, что спустя два-три года многие из этих трудностей оказываются позади. Так или иначе, люди устраиваются, и многие устраиваются неплохо. И тут-то мы и видим парадокс: довольные своей судьбой, устроенные, как правило, не пишут. Счастливые молчат. Но ведь эти же люди, которые в недавнем прош-

лом послали "плохие" письма в Россию, свое дело сделали. И, возможно, там их эмоции — эмоции неустроенных еще людей — уже были восприняты, как истина в высшей инстанции. И уже были сделаны выводы, и выводы, разумеется, не в пользу Израиля. Такова реальная ситуация, с которой нельзя не считаться, когда мы говорим об источниках информации, которыми пользуются евреи в СССР.

Было бы неправильным считать, что Сохнут и другие организации, связанные с абсорбцией, не делают отсюда никаких выводов. Нет, они делают выводы. Однако насколько эффективны предпринимаемые ими действия?

Всем известно, что из Израиля в Вену направляется масса так называемой сионистской литературы — брошюры, проспекты, периодические издания. Но все дело в том, что, какими бы возвышенными целями ни были исполнены издатели этой литературы, — как правило, они мало что достигают. Люди, прибывающие в Вену, воспринимают их как пропаганду — то, от чего они уехали из СССР. Прочитав то или иное сионистское издание, иногда к тому же очень невысокого уровня, эмигранты делают выводы вполне объяснимые для психологии советского человека: "Раз меня так агитируют ехать в Израиль, то вряд ли там есть что-то хорошее". Вот и все. Вот вам и весь эффект от подобной сохнутовской пропаганды.

Бессмысленно посылать в Вену все новые и новые пропагандистские издания — напрасные траты денег, которые, похоже, из года в год только увеличиваются. По-видимому, надо сделать совсем другое: показать выехавшим из России сам Израиль. Смысл дела в том, чтобы эти люди сами побывали в стране, смогли встретиться со своими друзьями и знакомыми из России, убедиться в относительной безопасности их жизни, увидеть вполне достойный уровень жизни репатриантов в Израиле. Важно, чтобы они почувствовали благоприятную социальную атмосферу, в которой находятся выходцы из Советского Союза. Может быть, они также смогут убедиться, что и климат в Израиле не так "ужасен", как его часто описывают в письмах. Словом, я думаю, что

хорошо известная пословица — "лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать" — в этом случае обретет весьма конкретное содержание.

Впрочем, в Израиле многие уже склоняются к этой точке зрения — не увидев страны, эмигранты просто не могут составить о ней представление. Но вот выводы, которые из этого делаются, далеко не всегда бесспорны. Мы часто в последнее время слышим о так называемом "силовом решении" проблемы. Хотят люди или не хотят, пусть едут в Израиль. Даже если в стороне оставить нравственную сторону этого предложения, то ведь есть еще и чисто практическая трудность: пойдет ли на это Москва? Мне кажется, что Москва в этом отнюдь не заинтересована. И другой вопрос — как быть с теми, кто выезжает из СССР поездом? Не прокладывать же железную дорогу по маршруту Москва—Тель-Авив. Словом, даже с чисто практической точки зрения эта идея не выдерживает критики.

Я прочел недавно в одной из израильских газет еще одно, весьма сомнительного свойства предложение — не направлять из Израиля вызовы в города с большим процентом неширы. Попробуем представить, как это выглядит практически. К великому сожалению, сегодня в Израиль не едут в своем большинстве москвичи, ленинградцы, киевляне, люди из городов, где традиционно жил цвет еврейской интеллигенции. Так что же нам отказаться от самой мысли о ее приезде в Израиль? Я уже не говорю о том, что по самой своей сути это предложение носит антигуманный и антиеврейский характер.

Есть горячие головы, которые вообще предлагают прекратить деятельность ХАЙАСа. Закрывать его отделение в Вене, и все. Я думаю, что это предложение вызовет прежде всего противодействие со стороны американского еврейства. Не поддержит его наверняка и американское общественное мнение, правительство Соединенных Штатов. Надо понять, что точки зрения Израиля и еврейства Америки на проблему выезда из Советского Союза не совпадают. Сохнут считает, что выезд евреев из СССР только тогда и оправдан, когда они

прибывают в Израиль. Американские организации, такие, например, как ХАЙАС, Джойнт, Наяна, во главу угла ставят несколько иную задачу — необходимость спасения советских евреев. И они вряд ли пойдут на то, чтобы отказаться от этой гуманистической цели.

Прекращение деятельности ХАЙАСа, по-видимому, вызовет протест и со стороны многих советских евреев, родственники которых уже находятся в Америке или других странах Запада. Я уже не говорю о том, какое противодействие это предложение вызовет в самих еврейских организациях.

Что такое ХАЙАС? Это довольно разветвленная система чиновных ведомств, которые существуют уже десятилетия. Не думаю, чтобы сотни, а может быть, даже тысячи чиновников согласились бы вот так просто самораспуститься и закрыть многомиллионный бизнес.

И наконец, еще одно предложение, которое лично у меня не может не вызвать чувство протеста. Это — обязательное представление израильского гражданства советским евреям уже в Москве, в процессе оформления ими визы в Голландском посольстве. Любопытная получается картина: в любой стране свободного мира гражданство надо заслужить, его предоставление — это знак признания со стороны общества, а тут предлагается превратить этот почетный акт в насильственную бюрократическую процедуру. Скажите, чем отличается подобного рода акт от насильственного лишения советского гражданства евреев, покидающих СССР? Эта мера не оставит тех, кто не хочет ехать в Израиль. Просто они встанут перед необходимостью начать обращаться в другие организации, например, Толстовский Фонд, помогающий беженцам из Советского Союза. Я представляю читателям сделать выводы о том, как в этом случае будет выглядеть картина еврейской эмиграции с моральной точки зрения.

Есть нечто общее у всех этих предложений, которые я перечислил, они лишены необходимых демократических начал, без которых немислима жизнь свободного общества. В самом деле, в чем смысл демократии? Смысл демократии в том, что она не побуждает и, тем более, не заставляет лю-

дей действовать определенным образом, а всегда предоставляет им альтернативу: "Вы можете поступить так или иначе". Ни в одном свободном западном доме или в западном кафе вас обычно не спрашивают: "Что вы хотите, чай?" Или: "Что вы хотите, кофе?" Вам всегда говорят: "Чай или кофе?" Даже здесь мы видим, пусть маленькую, альтернативу, без которой невозможно жить в западном обществе. Так вот эта альтернатива как раз и отсутствует в предложениях, о которых шла речь выше.

Их авторы готовы заставить ехать в Израиль людей, никогда не видевших эту страну.

Итак, для того чтобы принять свободное решение, еврейские эмигранты из СССР должны побывать в Израиле. Встает вопрос, как это сделать? Мне кажется, что тут есть несколько путей. Один из них состоит в том, чтобы закрыть временный лагерь, действующий на территории Италии и перевести его в Израиль. Тот факт, что лагерь еврейских беженцев в течение многих лет находился в католической стране, мог найти свое оправдание, пока не существовало еврейское государство. Исходя из гуманных побуждений католические и христианские организации предоставляли временное убежище еврейским беженцам. Но сейчас, когда вот уже более четверти века существует Израиль, трудно объяснить, почему он не может представлять такое убежище. Правда, израильский эстаблишмент занимает здесь бескомпромиссно отрицательную позицию. Почему-то органы абсорбции считают: или еврей станет немедленно гражданином Израиля, или ему вообще нет места для временного убежища в стране. Будто государство Израиль проиграет или ослабнет, или пошатнется его авторитет, если оно предоставит право временного убежища для тех, кто пока еще не решил для себя — принимать или не принимать израильское гражданство.

Говорят, что такой подход в отношении евреев из Советского Союза вызовет бурю возмущения в израильском обществе. Но отчего же? Какие для этого основания? В конце концов, создание в Израиле лагеря еврейских беженцев лишь положит конец относительной дискриминации эмигрантов

из СССР, которые, в отличие от евреев Запада, лишены возможности познакомиться с Израилем перед тем, как стать его гражданами.

Попробуем представить теперь ход событий, если лагерь еврейских беженцев из СССР будет создан в Израиле и эти беженцы, как это сейчас происходит в Риме, будут получать помощь от ХАЙАСа, правительства США и других стран. Повидимому, какая-то их часть после временного пребывания в Израиле и знакомства с жизнью репатриантов примет решение здесь осесть. Не будем, однако, проявлять излишний оптимизм. Другая часть, и, может быть, даже большая, с помощью ХАЙАСа отправится в Соединенные Штаты и другие страны. Но вот что важно: они увезут с собой объективное и достоверное представление об Израиле и, встретившись с неизбежными трудностями интеграции на Западе, смогут сопоставить свои личные впечатления и, кто знает, — может быть, в результате такого сопоставления примут решение вернуться в Израиль.

Что позволяет на это надеяться? Вряд ли есть смысл перечислять материальные преимущества жизни в Америке по сравнению с жизнью в Израиле. В США люди не должны служить в армии, проходя утомительные лагерные сборы, в Америке вообще нет опасности войны. Но, с другой стороны, для евреев из СССР жизнь в Израиле может быть намного привлекательнее, чем в любой другой стране Запада. И прежде всего, в силу огромного числа живущих здесь репатриантов из Советского Союза. Это число вскоре приблизится к ста сорока тысячам, поэтому именно в Израиле создается социальная среда, столь необходимая репатриантам, особенно в первые десять лет их жизни в новой стране.

Если обратиться к жизни тысяч советских евреев в США, то легко убедиться, что материальное благополучие далеко не всегда приносит им удовлетворение. Многие из них страдают от изоляции в обществе, отсутствия условий для общения, активной социальной жизни и, как следствие, — от одиночества, которое часто приводит к депрессиям. Преимущества, о которых мы говорим, не обязательно проявят себя

тотчас же. Возможно, понадобятся годы, чтобы эмигрант, уже уехавший в Америку, но сохранивший свои личные впечатления от Израиля, в конце концов, все-таки вернулся сюда.

Но, а если не удастся по тем или иным причинам создать лагерь беженцев в Израиле? Мне кажется, существует и другая альтернатива, дающая возможность познакомиться ношрим со страной. Следует просто пойти на то, чтобы предоставить им возможность на пути из Европы в США приехать на 10—15 дней в Израиль. За эти дни люди познакомятся со страной, ее городами, университетами, промышленностью, кибуцами, поведутся с друзьями и т.п. Это будет несомненно очень полезным знакомством. И даже в том случае, если побывавшие в Израиле все-таки примут решение ехать на Запад, появится куда больше шансов, что, в конце концов, они вернуться в Израиль в роли новых олим из стран Запада.

Материальные затраты на такие поездки не будут слишком велики. Простой подсчет, если число ношрим составляет примерно тысяча пятьсот человек в месяц или четыреста — в неделю, и при этом допустим, что двадцать пять процентов, то есть сто человек, захочет посетить Израиль, то разве денежные ассигнования, которые потребуются, не будут оправданы ожидаемым эффектом. Разумеется, любую из этих программ следует проверить экспериментально и лишь после этого сделать выводы об их эффективности. И это также потребует каких-то денег, каких-то дополнительных усилий, это все-таки лучше, чем многолетнее бездействие и многолетние бесплодные разговоры, которые мы наблюдаем со стороны столь многих еврейских организаций.

Я совсем не думаю, что предлагаемое мною не лишено недостатков. Я был бы удовлетворен лишь тем, если бы высказанные в этой статье идеи стали предметом серьезной дискуссии относительно судьбы и путей евреев, покидающих Советский Союз.

Наталья БЕЛИНКОВА

В ДОМЕ С РОЗОВЫМИ СТЕКЛАМИ

Виктория Шандор (Алла Кторовая) начала писать и печататься за границей, выехав из СССР между второй и третьей эмиграциями.

И вещи ее замешаны на самом что ни на есть современном советском материале, который преподнесен на современном разговорном языке. На прозу, созданную в СССР, ее рассказы и повести мало похожи. Живя в Вашингтоне, писательница свободно рассуждает, о чем хочет и как хочет. Ни внешнего, ни внутреннего цензора! Вместе с тем и ничего антисоветского в ее творчестве как будто бы нет. Только послушайте, как лихо звучит пионерский горн "Крапивного отряда"! Если верить писательнице, то из-за его мелодии "поздней осенью сорок второго года не работающие радостно бросились открывать окна" и "увидели дивную картину": по булыжной мостовой шли дети "чинно при пионерских галстуках".

Обе повести — "Крапивный отряд" и "Дом с розовыми стеклами" объединены одной темой — противопоставлением

прошлого и настоящего. Прошлое, оказывается, прекрасно и тогда, когда оно соотносится с Москвой военного времени, и тогда, когда оно брезжит закатным светом романтической эпохи русского искусства. Оба "прошлых" времени несравнимы с установившейся циничной современной культурой. Не правда ли, что это идет вразрез с общепринятым мнением, что в сталинские времена все было очень плохо, а в теперешние немного лучше?

В "Крапивном отряде" две части. В первой — шефство над ранеными бойцами и неработоспособными жителями города в Москве сороковых годов, во второй — возвращение в Москву в качестве иностранной туристки примерно через тридцать лет. "Дом с розовыми стеклами" — одночастная повесть, своеобразное продолжение первой. Героиня этой повести, молодая женщина, как бы продолжает занятия своей юной предшественницы, — а может быть, и свои собственные. Она помогает беспомощным старичкам в условиях уже мирного времени. Старички эти — трогательные "бывшие", странные выломыши из дореволюционного бытия. Их медлительное существование в современном громяющем мире так же несообразно, как несовместимы кружевная куртуазность Версаля и голые коленки, торчащие из-под мини-юбки. В повести явная попытка возврата не в свое детство, а в какие-то более глубинные истоки сегодняшнего бытия, в конец 19-го, и даже 18-й век.

Один американский критик отметил характерную особенность произведений Аллы Кторовой: ее герои — "второстепенные" люди. Вот и в новых повестях: одинокие женщины, старики, дети, прохожие, мальчик-еврейчик, девочка-армяночка (что, по мнению соседки по коммунальной квартире, еще "хужей", поскольку "чистим-блистим").

Есть тут и дядя Проха, который, выпивши, орет на всю квартиру: "Я красный партизан! У-кк-раину гграбил!" и семидесятилетняя Мария Эрастовна, дочь знаменитого московского букиниста, бережно сохраняющая Евангелие 14 века. Однажды появляется ультрасовременный молодой человек: "Дверь мне открыл нахальноглазый долгоногий Комар в

джинсах с яркими заплатами на заднице"... А в другой раз мы встречаемся с юродивым: "Сквозь слабенький свет из-под двери в комнату я вдруг с ужасом заметила, что недалеко от входа, в углу коридора, стояло странно неопределенное существо. Потом, взглядевшись, начала различать, что это был мужчина, огромноголовый, со страшным зобом и крошечными ручками и ножками... Витька не боялась не только подходить к нему, но и гладить его по головке. — Ты думаешь, что Жоржинька ничего не понимает? — радостно звенела она, — он даже Пушкина читает, правда, Жоржинька? — ...Пу-кки-ин, - пробормотал Жорж".

Все эти "второстепенные" люди, не есть ли они тот самый народ, который, ради которого, которому... Каким-то непонятным образом обходится Алла Кторова и без идеализации его с одной стороны ("Сатира?" — литературоведческий голос), и без клеветы на него с другой стороны. ("Не почвенница ли?" — социологический голос).

Есть в ее книгах и интеллигент. Показан он в быту, без типичных интеллигентских атрибутов. Алла Кторова приезжает из-за границы и встречается со своей бывшей подругой, очень известным доктором Ф.

"Флорка была так утомлена, что даже поцеловала меня как-то устало и тут же легла на диван-кровать.

— Падай сюда, — сказала она. — Ну, вот, как видишь, живу.

— А-ммм, — неприлично замычала я, а потом, как дура, прибавила.

— Читаешь много?

— Читаешь? Ах ты, жжо-нтик! — сразу видно, что ты с того света.

Ты мозгой-то шевелишь? Ясно, что нет. Я и на работу, я и за харчами... Я, выпитив губки, кротко молчала.

.....

— Читать! Нет, это просто колоссально! Чтение твое у меня поперек печени, ясно?"

Кто из бывших советских женщин не узнает себя в этом горестном раздражении? Действующие лица книг Аллы Кторовой живут трудной жизнью, но рано или поздно все у них как-то устраивается. Некоторые из ее бывших подруг выбились в люди или вышли замуж, другие нашли свое счастье в том, что разошлись с мужьями. Есть так хорошо устроившиеся, что даже уговаривают своих детей съесть второе пи-

рожное, сами при этом налегая на картошку, и почти у всех есть тонконогая заграничная мебель. Проблемы "ехать — не ехать" у них нет, и они простодушно радуются своим успехам и удачам, например, получению медали "За оборону Москвы". Эта радость описана с такой подлинностью, что на мгновение забываешься и думаешь: "Что же это такое? Чему я радуюсь вместе с этими пионерами? Ведь тут и до Детгиза, Тимура и самого Павлика Морозова недалеко!" Но, очевидно, внутренняя свобода в том и состоит, что не побоялась писательница вытащить звено даже такой метафорической цепочки. Кстати, цепочка распадается довольно скоро. Как-то очень ловко Алла Кторова дает понять, что не все благополучно в... Датском королевстве.

Вот вскользь брошенное слово об очереди за мясом, но, заметьте, за лучшим, парным; вот несколько фраз о том, как станцию метро Дворец Советов переименовали в Кропоткинскую и теперь, видите ли, трудно описывать Москву такой, какой она была тридцать лет тому назад, а вот маленький рассказик про то, как разрушили всего один памятник на Введенском кладбище. Никакого "анти", как никакого "про".

"— Деточка, что ты такая смутная?

— Т-а-а-к...

— Да, кругом сумно..."

Это из повести "Снежный человек" в книге "Экспонат молчаливый". Но вернемся к последней книге. Маленькие люди, мизерные радости, убогие цели. И ведь было это когда-то в русской литературе, всегда было. И надежда была. На революцию, что ли? В общем, на будущее.

Бедные люди Аллы Кторовой живут на территории страны, у которой и будущего уже нет. Это и не страна, а всего лишь воображаемый дом с розовыми стеклами, который примерещился на закате. Подлинная русская история остановилась. Осталось только умирание.

Уже на третьей странице книги мы читаем: "Эта необыкновенная загадочная болезнь — ностальгия по смерти". Через несколько страниц: "И в Москве стояла не зима, а смерть Наполеона". Спустя немного: "Если вы хотите представить себе старую Россию, Россию"

Русь, не ездите вы в Суздаль, не рвитесь в Углич, не сыпьте в Переяславль-Залесский и не прите в Загорск. А сходите вы на старое московское кладбище, где по сю пору усердно исправляются богослужения". (Цитата сильно сокращена — Н.Б.)

Умирание — главная тема воспоминаний о детстве и свидетельстве о настоящем времени в последней книге Аллы Кторовой.

"А вокруг по-старому могилы млели гелиотропами, на языке цветов означающими признание в любви. В гуще деревьев было по-прежнему тихо, в лапчатых кронах шел знакомый дремотный шепоток... и мы с Флоркой вспоминали, балдея от запаха и разноцветья, как в детстве мы обирали сучки и ветки, увешанные лесными трофеями — желудями".

Тут, сидя на разрушенных плитах вместе с бывшими членами "Крапивного отряда", когда-то награжденного медалью из рук самого Калинина, начинаешь понимать, что сентиментальная нота в описании детства — не пустой ностальгический звук. Детский труд по собиранию желудей и крапивы был осмыслен попыткой сохранения жизни, не в пример бессмысленному уничтожению, творящемуся даже на кладбище.

Сравнение прошлой Руси с современной Россией у Аллы Кторовой также не в пользу последней. Это особенно хорошо видно на сравнении старых ревнителей театрального искусства со "свитерными" героями современности.

Ловкачи — а не таланты.

Наглецы — а не интерпретаторы.

Искатели новшеств — а не новых путей.

Трюкачи — а не авангардисты.

Профаны — а не разрушители старых схем.

Натренированному бывшему советскому читателю легко превратить подобный прямой выпад в метафору, так сказать, распространить часть на целое, из области театра перекинуть его на другие области литературы и искусства и успокоиться на этом.

Но вот в чем фокус. Ее инвектива обращена не к сервильной литературе, обслуживающей идеологические потребности правящего класса, а к нам, диссидентам, предстателям, писателям, председателям.

Стилистика этого отрывка не характерна для Аллы Кторовой. Возможно, что здесь звучит голос Виктории Шандор. А цитирую я его для того, чтобы показать отличие авторской позиции от типично русской.

Особенность русской литературы всегда состояла в том, что русский писатель от Толстого до Дудинцева стоит над действительностью. Он знает цену и Онегину, и Угрюм-Бурчееву, он отмщает Карениной, он указывает на Акакия Акакиевича (который вопрошает своим именем: "А как, а как жить-то?"), он провидит бесов революции, он находит высший смысл в поступи двенадцати, он заботится о продвижении рационализаторских предложений в жизнь, он раскрывает тайны беззакония на островах ГУЛага.

Современные диссиденты, эмигранты, репатрианты продолжают, правда, на другом уровне, эту традицию в своих произведениях, выступлениях и поведении. Мы все берем на себя право решать, как не надо делать, поскольку на вопрос "Что делать?" до сих пор не ответила сама жизнь.

У нас нет литературы для литературы. Наша литература существует для политики. Творческую мощь Гончарова или Достоевского это умножало. В других случаях произведение, самое благородное, становилось преходящей ценностью, значение его улетучивалось со скоростью впечатления от очередной газетной статьи.

Прочитайте сейчас многие вещи, которые потрясали нас во время начинающейся "оттепели". (Отсюда, конечно, не следует делать вывод, что они не должны были быть. И, конечно, это не значит, что перед могилой неизвестного солдата не надо склоняться из-за того, что он не был генералом.)

Вслед за политическими, моральными, философскими темами нашего искусства, как тоненькая скрипочка вслед за оркестром в симфониях Шостаковича, плывет мелодия чистого искусства. Некоторые решаются писать о незначительных вещах, о челке, чашке, какао, глухом звуке сорвавшегося с дерева плода. Наши власти особенно жестоко боролись именно с этим, с виду кажущимся наиболее

безобидным искусством из-за того, что тенденциозного художника можно повернуть туда, куда надо (Евтушенко), а "безыдейного" никуда не повернешь (Белла Ахмадулина). Именно эта особенность искусства для искусства в тоталитарном государстве привела одного известного критика к созданию концепции: "Эстетские стихи Пушкина это — такие политические стихи".

Проза Аллы Кторовой — такая политическая проза. Поэтому в своих произведениях она обходится без изображения талантов и авангардистов, с одной стороны, и без изображения ловкачей и трюкачей, с другой. Она только мимоходом достает несколько сущностей из человека, как из матрешки.

Красный партизан дядя Проха героически гибнет на войне, и его оплакивают семья и соседи, партийная руководительница Крапивного отряда превращается в богомолку, воровка спасает голодающую семью, украв карточки у кого-то другого, а Виктория Шандор превращается в Аллу Кторову.

Алла Кторова не только псевдоним. Это один из самых важных народных персонажей в ее книгах. Алла, а не Виктория, молчит, как дура, чопорно выпятив губки, она утверждает, что не отличается добротой, она заявляет о наличии кладезя мудрости в своей левой пятке. Она не может смотреть на обитателей советских коммунальных квартир со стороны и обличать их или умиляться ими. Она живет в том же большом многоквартирном доме, в том же переулке, что и они, и порой ей так же смутно, как и жалеющей ее спекулянтке.

Писательница, которая когда-то собиралась стать актрисой, играет Аллу Кторову, которая также не лишена артистических дарований. На заключительных страницах "Дома с розовыми стеклами" ею разыгрывается сцена на московской ярмарке, хотя ярмарка — не ярмарка, а современный перекресток с высотными домами; и расписные пряники — не расписные пряники, а хлебобулочные изделия; и скоморох — не скоморох.

" — Почему же твои пирожки, красивенькая?

— Если мне нравится вещь, я не стою за ценой.

— А все же?

— Старым — даром, молодым — так. Дешевле гривенника не купишь".

Это продавщица пирожками попросила писательницу заменить ее на пять минут, ну та и вошла в роль... "Ну, что? По-стародавнему я торговала? По-стародавнему. Пирогам? Ими. Как мечтала, так и сделала. Слово мое — олово. Камень — антрацит".

Через туристскую поездку в Москву детских лет, через скоморошью игру в современном городе возвращается писательница в старину-сказку, приближается к тем самым корням, в отсутствии которых упрекают наше космополитическое поколение.

Лукавая игра с читателем протянулась по всей книге. В одних случаях Алла Кторова открыто нам подмигивает: "...сейчас одна моя знакомая едет в Вашингтоне по Коннектикуту авеню (схватываете, кто это?)..."

В других случаях надо внимательно вчитаться, чтобы это лукавство заметить. Например, писательница уверяет нас, что не умеет строить сюжет. Свой лучший роман "Лицо Жар-Птицы" она демонстративно называет "антироман", а в повести "Крапивный отряд" громко сетует на то, что не умеет сводить композиционные концы. А на самом-то деле ее повести и романы сбиты крепко и не "рассыпаются". Они расчетливо построены на цепочке эпизодов-воспоминаний, связанных между собой не логически, а ассоциативно. Эпизоды часто перебиваются другими и досказываются много позже. Таков рассказ о могиле доктора Гааза — эмоциональный ключ к "детской" части "Крапивного отряда".

Детей однажды поразило надгробие со словами "Спешите делать добро!" Оказалось, что эта надпись была сделана на могиле доктора, который однажды сел в ванну холерного больного, чтобы доказать, что к больным холерой можно прикасаться. Все это было чуть не сто лет тому назад. О том, что доктор оказался немцем, дети узнали во время войны с гитлеровской Германией, когда о немце писали: "Сколько раз

увидишь его, столько раз и убей!" Пройдя через разочарование, одна из девочек сама становится врачом.

Иногда Алла Кторова старается обмануть нас тем, что как будто бы не умеет владеть даже словом, с которым она умеет обращаться виртуозно. Вот она описывает потрясение от того, что разбили надгробие статуи Белый Христос, около которой она когда-то сидела с подругами: "Музы мои, лиры мои отказали, забормотали что-то невнятное в самый торжественный момент и получилось ни шатко, ни валко, ни в сторону". Нет, не отказали. "Поставила" писательница и этот эпизод "на кончик пальца" и "вертанула". Только знает она, эта современная писательница, тоскующая о прошлом ("Мне бы жить в восемнадцатом веке!"), что пауза играет не последнюю роль в тоне, который делает музыку, и не преминула этой выразительностью паузы воспользоваться.

Говорят, Аллу Кторову трудно переводить на другие языки. Ирония, ассоциативность, апелляция к знанию деталей, одинаково известных и писателю и читателю, смешение языковых стилей — враги переводчика. О ней и писать трудно. Отдельные цитаты, вырванные из контекста, теряют свой эффект, их своеобразие зачастую не столько в них самих, сколько в их монтаже, в неожиданном сопоставлении.

Это то же самое, как рассматривать мозаику вблизи. Там скопление одних красок, там сгусток других, а "на какую тему" вся картина, не поймешь, пока не отойдешь и не посмотришь издали. Тогда видишь: вот чайка из разноцветных ракушек на стене скромного дома (Капитола, США, мастер неизвестен), вот библейские звери на обломках (Израиль, мастера безымянны), вот Божья Мать на золотом своде Софийского собора (Киев, СССР, мастер неведом).

Обычно мозаики делают из однородного материала. Которые — из разнородного: лирика, сатира, слово из лексикона пьяницы, высочайшая патетика, школьный жаргон, шепот подруг...

Проза Аллы Кторовой после прочтения оставляет чувство некоторой незаконченности, — это правда, но как раз настолько, чтобы немного задуматься вслед прочитанному.

ЛЕВ ЛАРСКИЙ
МЕМОАРЫ
РОТНОГО ПРИДУРКА
(иллюстрации и оформление автора)

В ближайшее время выходит отдельной книгой в издательстве "Время и мы"

Книга выходит в пяти частях:

1. Взвейтесь, кастраты
2. Солдатская совесть
3. Саперная одиссея
4. Боец невидимого фронта
5. Бледная спирохета —
оружие врага

При предварительном заказе в редакции
цена в Израиле — 72 лиры, за границей —
4. 50 доллара (в цену входит стоимость доставки и НДС).

Заказы и чеки высылать по адресу: Тель-Авив, Нахмани 62, редакция "Время и мы".

В конце 1978 года ряд авторов решительно осудили на страницах русской зарубежной печати безнравственную позицию историка Роя Медведева, представляющего некое неофициальное направление советской марксистской мысли.

Единодушное возмущение, в первую очередь, вызвали выступления Роя Медведева против Петра Григорьевича Григоренко, томившегося тогда в психиатрической тюрьме, а затем и против Александра Гинзбурга, находившегося очередной раз под следствием. Особенно резко — и в целом, надо сказать, справедливо — выступил против Роя Медведева А.Авторханов в статье "Рой Медведев: клеветник или провокатор?", опубликованной в "Русской Мысли" 14 декабря 1978 года. Отвечая на страницах той же газеты Авторханову, брат Р. Медведева, Жорес Медведев, так и не смог отвести главное обвинение, предъявляемое Рюю Медведеву, — независимо от того, действовал ли тот по собственному почину или по чьему-то поручению, его выступления служат на руку советскому режиму, объективно полезны тюремщикам и несправедливым судьям.

Но в пылу полемики, посвященной, главным образом, нравственности Роя Медведева и его взаимоотношениям с разными группами диссидентов и советской властью, теряется не менее важная сторона вопроса, а именно взгляды Роя Медведева как представителя одного из современных течений марксизма. Между тем, воззрения Роя Медведева чрезвычайно близки идеологии современного еврокоммунизма, представители которого неоднократно апеллируют к его работам. Более того, система взглядов Роя Медведева характерна не только для него, но и для очень многих безупречно честных людей, немало страдавших и страдающих от советской власти, в том числе — и для некоторых нынешних оппонентов Медведева. В известной степени эта система взглядов определяет, по-видимому, и этику Роя Медведева — его представление о гражданском долге, о том, как ему следует реагировать на некоторые политические ситуации.

Редакция предлагает читателям два различных взгляда на Роя Медведева как на историка и идеолога, чьи воззрения, независимо от его взаимоотношений с режимом, заслуживают обсуждения хотя бы потому, что отражают миропонимание достаточно широкого круга марксистски и промарксистски настроенных людей.



Нафтали ПРАТ

СТАЛИНИЗМ С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЛИЦОМ

"Второе пришествие Карла Маркса" почти не затронуло России. В шестидесятые годы нашего века Маркс вошел в моду среди бунтующих западных интеллигентов. Появились разнообразные, подчас весьма причудливые интерпретации марксизма в духе более или менее экзистенциалистски окрашенного гуманизма. В моде был не зрелый Маркс — экономист и социолог, автор "Капитала", но молодой Маркс — гуманист и философ, автор "Экономическо-философских рукописей 1844 г.", из которых каждый вычитывал, что хотел. Это, так сказать, новый "катедер-социализм" — социализм профессоров и студентов.

Русские "инакомыслящие" принадлежащие почти исключительно к той социальной прослойке, которую Солженицын презрительно окрестил "образованщиной", остались, однако, совершенно бесчувственны к чарам бородатого пророка, чей прах покоится на Хайгетском кладбище в Лондоне, а дух витает над многочисленными кафедрами европейских университетов. Марксизм ассоциируется в умах сегодняшних и вче-

рашних советских граждан с нудной идеологической жвачкой, преподносимой со всех амвонов партийной псевдоцеркви. Никаких других ассоциаций он не вызывает. Маркс (так же, как и Ленин) принадлежит к числу наименее читаемых в Советском Союзе авторов. Его не знают и не хотят знать — просто отталкивают с брезгливой гримасой.

Раньше было не так. В эпоху хрущевской дозированной десталинизации возникали эфемерные группы, чаще всего студенческие, с марксистской и социалистической программой. Кричащее противоречие между провозглашаемыми официально идеалами и безграничным попранием этих идеалов в действительности молодые марксисты разрешали в пользу идеалов. Нет нужды объяснять, что их марксизм был чрезвычайно поверхностным.

В задачи этой статьи не входит анализ различных духовных течений в русской оппозиции. Она посвящена лишь тому течению, которое выглядит окаменевшим остатком иной эпохи — "допотопному (по выражению Солженицына) марксизму", главным представителем которого в СССР является Рой Медведев.

Говоря о медведевском марксизме, мы будем иметь в виду прежде всего его объемные труды "К суду истории" и "Книга о социалистической демократии".

Рой Медведев считает себя марксистом, более того — ленинцем. Он является выразителем "партийной оппозиции", критикующей недостатки советской системы изнутри — с позиций сохранения и совершенствования этой системы, чьи исходные принципы представляются ему совершенно правильными. Иначе говоря, он хочет быть "оппозицией ее величества КПСС". Беда, однако, в том, что эта царствующая особа не терпит никаких оппозиций — в том числе и самой благонамеренной. В 1969 году Рой Медведев был исключен из партии, сохранив, однако, с ней духовную связь.

Марксизм Роя Медведева имеет очень мало общего с гуманистическим марксизмом западных левых, если речь идет о теоретической стороне вопроса. Это более или менее орто-

доксальный советский марксизм-ленинизм в либеральной редакции, так сказать, "сталинизм с человеческим лицом". Если такая формулировка покажется абсурдной и парадоксальной до нелепости, читателю рекомендуется обратиться к произведениям нашего марксиста, в особенности к его исследованию происхождения и последствий сталинизма — книге "К суду истории".

Читателю, знакомому с западными исследованиями сталинизма, эта книга едва ли сообщит много нового. Разумеется, это несколько не уменьшает заслуги автора, сумевшего в исключительно трудных советских условиях собрать огромный материал, убедительно демонстрирующий бесчеловечный характер сталинской тирании. И, однако, выводы, к которым приходит историк, оказываются половинчатыми и непоследовательными даже с точки зрения классической марксистской доктрины. Обличая сталинский "казарменный псевдосоциализм", он, в соответствии с официальной партийной догмой, утверждает, что, наряду с этим псевдосоциализмом и в борьбе с ним, в Советском Союзе развивались элементы подлинно социалистических отношений. Неограниченная личная власть Сталина была, по его мнению, лишь формой — худшей из возможных форм — диктатуры пролетариата.

Говоря о происхождении сталинизма, Рой Медведев остается в плену партийного мифа о том, что главной причиной исторического уродства, эвфемистически именуемого "культуром личности", был скверный характер Сталина и что если бы не смерть Ленина, все было бы в порядке. Он отвергает попытки представить сталинизм результатом преждевременной революции, совершившейся в стране, где отсутствовали экономические, социальные и культурные предпосылки социализма. Он ясно пишет, что приход к власти Сталина, этого "воплощения всех худших элементов в русском революционном движении", после Ленина, который является для него воплощением всего самого лучшего, был "исторической случайностью".

Так, он допускает почти еретическую мысль, что октябрьская революция произошла не в силу железной исторической

необходимости, а благодаря исключительному стечению обстоятельств. Как ни правилен этот взгляд сам по себе, он противоречит утрированному детерминизму, присущему классической, механистически-позитивистской версии марксизма.

Рой Медведев не отдает себе отчета в том, что, придавая такое большое значение исторической случайности, он, в сущности, подрывает самые основы того мировоззрения, защитником и выразителем которого он хочет быть. Представление о различных возможностях исторического развития, о непредопределенности будущего прошедшим, о решающей роли человеческой активности в истории, принадлежат, скорее, к кругу идей западного "младомарксизма", который вызывает со стороны советской ортодоксии резкий отпор.

Рой Медведев предпочитает, скорее, пожертвовать историческим детерминизмом, чем культом Ленина. Ленин у него, как и у всех советских историков, никогда не ошибается; даже когда он противоречит сам себе, это служит лишь подтверждением диалектической гибкости его ума. Хотя Рой Медведев и видит, как во время гражданской войны подготовлялись некоторые элементы будущего сталинизма, создавалась машина террора, он не хочет возложить какую-либо ответственность на Ленина и большевиков и оправдывает их действия военной необходимостью. Как будто гражданская война не была развязана самими большевиками, как будто белый террор может быть оправданием красного!

Я считаю ошибочным мнение тех, кто, подобно Солженицыну, не видит никакой разницы между Лениным и Сталиным, отрицает правомерность самого понятия "сталинизм". Сталинский деспотизм обладал совершенно своеобразными, уникальными чертами. Превентивный характер сталинского террора, последовательная расправа со своими вернейшими сторонниками и слугами, наконец, имперская великодержавность — все это оригинальные черты сталинизма. Ленин в последние годы своей жизни претерпел известную эволюцию. Введение НЭПа — решающий момент этой эволюции. Оставаясь последовательным врагом свободы, запрещая деятель-

ность "советских" партий и насаждая железную дисциплину в собственной партии, Ленин прокладывает путь Сталину. Но в то же время он искал экономического соглашения с крестьянством, допускал известное (контролируемое) развязывание частной инициативы, пытался нащупать новый путь к социализму. Его попытки были обречены на неудачу. Придуманый им НЭП таил в себе противоположные возможности развития. Он должен был привести либо к раскрепощению экономики и политической свободе, либо — к тоталитаризму. Сталин превратил вторую возможность в действительность.

В ленинизме содержались почти все элементы будущего сталинизма. Но все же нельзя полностью отождествлять "якобинскую диктатуру Ленина" и сталинский "бонапартизм".

Ленин стал предшественником Сталина отнюдь не случайно. Сталинизм оказался исторической Немезидой ленинизма. На заре своей политической деятельности Ленин сформулировал в книге "Что делать" концепцию централизованной, дисциплинированной партии, концентрирующей всю власть в руках маленькой группы вождей. Ленин не доверял пролетариату, именем которого клялся; он считал, что без руководства партии пролетариат неизбежно собьется с правильного пути. Диктатуру пролетариата он представлял как диктатуру всеведущих вождей над пролетариатом, а не как свободную самодеятельность рабочего класса. Марксисты — современники Ленина, подвергли его организационный план уничтожающей критике. Плеханов, Аксельрод, Мартов, Роза Люксембург, Троцкий — все единодушно осуждали "казарменный дух ультрацентрализма", которым проникнут этот план. Они предсказывали, что реализация этого плана неизбежно приведет к удушению самой партии и к личной диктатуре. Ирония истории — Троцкий, так ясно видевший опасность, таящуюся в ленинизме, становится ближайшим соратником Ленина только для того, чтобы своей личной трагедией подтвердить правоту своих юношеских прогнозов... Совсем не случайно соратники Ленина были истреблены своим товарищем.

Сегодня Рой Медведев выступает от их имени и от имени

тех немногих, кто уцелел. Это они, "коммунисты-демократы", печатают свои статьи в самиздатском журнале "Двадцатый век".

Они пытаются переосмыслить прошлое, ищут новых решений. Но нельзя и сказать, будто они освободились от догм, владевших некогда их душами. В книге Роя Медведева "К суду истории" поражает неумение автора преодолеть самые очевидные нелепости партийной идеологии, стопроцентно сталинистской в самой своей основе, отказаться от признания правоты "генеральной линии". Он готов признать частичную правоту утверждений как правой, так и левой оппозиций, однако в целом его отношение к обеим — отрицательное. Словом, он защищает "сталинизм без Сталина..."

Противники Роя Медведева (а их много и среди диссидентов, и среди эмигрантов старших поколений) осуждают его, между прочим, за то, что он возмущен главным образом террором Сталина против коммунистов, а не террором коммунистов против русского народа. Обвинения, раздающиеся по адресу историка из уст непримиримых антикоммунистов, едва ли вполне справедливы. Несомненно, судьба репрессированных коммунистов особенно близка сердцу Роя Медведева. Но это вовсе не значит, будто он оправдывает террор, направленный против членов других партий и беспартийных жертв диктатуры. А вот у его противников зачастую можно различить злобную радость по поводу судьбы казненных гонителей. Дескать, "за что боролись, на то и напоролись".

Возвращаясь к книге Роя Медведева, следует признать, что при всех ее очевидных недостатках она, по меньшей мере, не вредит борьбе за преодоление сталинского наследия. Со времени написания этой своей первой большой книги историк-марксист изменился. Если сопоставить "Книгу о социалистической демократии" с книгой "К суду истории", мы обнаружим в первой куда как более радикальную программу реформы советской политической системы, чем во второй. Правда, эта программа по-прежнему излагается казенным языком и сопровождается признанием ряда пропагандистских фикций. Формальное признание этих фикций

служит Рою Медведеву как бы заявкой на легальность, чем-то вроде формальной присяги на верность "ее величеству". Это не мешает Рою Медведеву требовать (хотя и в почтительнейшей форме) весьма реальных ограничений всевластия "государыни" и подлинных конституционных гарантий против злоупотреблений ее властью.

В осторожной и слегка завуалированной форме Рой Медведев атакует самый священный принцип коммунистической диктатуры — принцип неограниченной монополии партии. Однако этого достаточно, чтобы признать его публицистику в высшей степени ценным проявлением демократического духа, глубоко враждебного тоталитаризму. Рой Медведев является ведущим представителем конструктивной оппозиции в Советском Союзе. Позднее, в одной из своих статей, он еще более заостряет этот свой тезис, утверждая целесообразность и желательность создания в Советском Союзе новой социалистической партии. Для тех русских эмигрантов, которые страдают идиосинкразией ко всему, что ассоциируется со словом "социализм", предложение Роя Медведева, естественно, не обладает никакой привлекательностью. Однако его следует рассматривать в контексте современной советской действительности, чтобы понять, какой огромный политический, социальный и психологический переворот подразумевается реформой, предлагаемой Роем Медведевым. И реформы, о которых он мечтает, не сводятся только к ограничению (или ликвидации?) монополии коммунистической партии. Они включают гарантии подлинной свободы слова и печати, право публикации газет и журналов, выражающих взгляды различных политических направлений, а также внесение в советскую политическую систему того "буржуазного" принципа разделения властей, который вызывал в свое время осуждение Ленина.

В этой связи следует отметить, что Ленин больше не является для Роя Медведева непогрешимым авторитетом. Почти-точно и со всевозможными оговорками Рой Медведев дает понять, что не чувствует себя связанным теми или иными конкретными высказываниями Ленина.

Конкретные предложения Роя Медведева по усовершенствованию управления экономикой и по внесению в экономику элементов демократии заслуживают серьезного внимания со стороны тех, кто реально озабочен будущим России. Эти предложения так же внешне скромны и осторожны, как и другие его рекомендации, однако в них таится огромная взрывчатая сила. Принятие этих рекомендаций могло бы стать отправным пунктом для развития Советского Союза к подлинному, демократическому социализму. Ибо социализм без демократии невозможен. В противоположность тому, что утверждают коммунисты и антисоциалисты, а также (хотя и с оговорками) — Рой Медведев, в Советском Союзе нет никакого социализма. Даже если признать явно устарелый и принципиально неверный тезис, согласно которому главной отличительной чертой социализма является общественная собственность на средства производства. Советский Союз не может быть признан социалистической страной, так как средства производства в нем не обобществлены, но лишь огосударствлены, переданы в монопольное владение государства, свободного от какого-либо контроля со стороны трудящихся.

Я подозреваю, что победа демократического социализма в СССР лишь огорчила бы многих критиков Роя Медведева, ибо она показала бы наглядно возможность существования такого общественного устройства, которое представляется им не реализуемой утопией. Но я не принадлежу к их числу.

* * *

Представление о принципиально социалистическом характере советского общественного устройства является, по моему, самым слабым пунктом в системе взглядов Роя Медведева. Отсюда проистекают, по-видимому, присущие ему иллюзии о возможности радикальной реформы советского строя в результате инициативы сверху. Слов нет, такая перспектива кажется весьма заманчивой. Однако реальна ли она?

Самое большее, на что можно надеяться, — это такое развитие событий, при котором всевластие репрессивного аппарата окажется парализованным в результате соперничества различных группировок на верхах. Благодаря этому возникнет возможность пробуждения скрытых до поры до времени в народе способностей к самостоятельности.

История восточноевропейских стран (Польши, Венгрии, Чехословакии) свидетельствует о том, что такое развитие событий по крайней мере мыслимо. Конечно, в России ему препятствуют несравненно большая мощь режима и почти абсолютная пассивность и деполитизация народных масс. Все же, если демократизация советского режима вообще возможна, она пойдет, вероятнее всего, этим путем. Всякой большой революции в истории, как правило, предшествует довольно длительный период "просвещения". Философы-просветители, подготавливающие во Франции XVIII века почву для великой революции, сами не были, в большинстве своем, революционерами. Они были сторонниками "просвещенного абсолютизма" и возлагали все свои надежды на реформы сверху. Пусть Фридрих или Екатерина, прозванные Великими, не оправдали этих надежд. Иллюзии просветителей были необходимым моментом в интеллектуальном развитии предреволюционной Европы. Быть может, иллюзии Роя Медведева также предвещают возникновение мощного общественного мнения в СССР, которое будет способно оказать давление на политическое руководство и подтолкнуть его в сторону демократизации.

Во всяком случае, те, кто мечут громы и молнии против братьев Медведевых за их законопослушность, склонны прощать иллюзии Солженицына, обратившегося к советским вождям с программой реформ, гораздо более скромной, чем программа Роя Медведева. Дело, очевидно, в том, что Медведев обращается к марксистской "шуйце" советской власти, в то время как Солженицын возлагает надежды на ее истинно русскую "десницу". Для некоторых оппонентов Роя Медведева, несомненно, более привлекательна перспектива "православно-теократического" тоталитаризма, сохра-

няющего в неприкосновенности структуру нынешнего советского государства, чем перспектива подлинной демократизации, осуществляемой под знаком марксизма и социализма.

Не хочу уж и говорить о "джентльменском" стиле полемики, принятом в русской эмиграции. Обычным полемическим приемом является здесь не слишком завуалированное обвинение оппонента в том, что он продался КГБ. Этим изящным доводом разрешается всякий спор.

Спорить с Роем Медведевым можно и нужно. В своей статье я лишь наметил некоторые возможные предметы такого спора.

Рой Медведев представляется мне отнюдь не "догматическим марксистом", но в высшей степени благонамеренным либералом-постепеновцем, таким "мирнообновленцем". Беда его в том, что, подобно пруссаку прошлых времен, он "носит своего жандарма в сердце". Оглядка на цензуру превратилась у него в душевную потребность. И все же я не могу не протестовать против попыток отлучить братьев Медведевых от освободительного движения. Ибо, вслед за Герценом, я не боюсь опошленного слова "постепенность" и думаю, что даже "официальный либерализм" лучше официального и неофициального черносотенства.



Дора ШТУРМАН

"ОППОЗИЦИЯ ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА"

Я полностью разделяю мысль Н.Прата о ценности постепенного преодоления общественных трудностей, — несчастье состоит в том, что не во всяких исторических обстоятельствах нам это благо дается. Возникла ли в послесталинском СССР эта спасительная возможность? Поставленный мною вопрос не означает, что хоть в какой-то мере желателен, в моих глазах, революционный взрыв в СССР. Упаси Бог. Но нарастают ли там возможности для постепенного преодоления затруднений? Боюсь, что ситуация, выглядящая и порой определяемая как *либерализация*, есть лишь синдром некоего старения режима, не разрешающего его осложнений. Именно поэтому современные советские "мирнообновленцы" весьма существенно отличаются от досоветских российских либералов-постепеновцев. Последние ратовали за мирное и постепенное разрешение ряда частных проблем российской жизни, которое было не только желательно, но и возможно, и совместимо с основами существования дореволюционного общества.

Рой Медведев, которому посвящена статья Н.Прата, хочет постепенно внести в советский строй черты или несовместимые с фундаментальными свойствами этого строя, или вообще неосуществимые.

Он надеется без потрясений и взрывов добиться самопреобразования тоталитарного социализма в социализм демократический. В принципе, и Н.Прат считает, что необходимо стремиться к "подлинному, демократическому социализму". Но, в отличие от Р.Медведева, он убежден, что "Советский Союз не может быть признан социалистической страной, т.к. средства производства в нем не обобществлены, но лишь огосударствлены."

В основе взглядов Роя Медведева лежит заблуждение, характерное и для "марксистов-ленинцев" его типа, и для "гуманистического марксизма западных "левых" (Н.Прат)*. Они не помнят, что "сталинский казарменный псевдосоциализм" есть результат грандиозной попытки воплотить в жизнь не что иное, как прежде всего — идеалы "молодого Маркса — гуманиста и философа". Маркс до конца своих дней говорил, в отличие от социалистов-государственников типа Освальда Шпенглера, не об огосударствлении, а именно об обобществлении средств производства, о самоуправлении (?) "ассоциированных производителей".

И точно о том же говорил до 1918 года Ленин. И — один к одному — с той же медведевской и еще более радикальной программой выступила в 1921—22 годах ортодоксально-марксистская "рабочая оппозиция", одним из вождей которой был Александр Медведев, позднее уничтоженный Сталиным. И даже в словесности хрущевской "оттепели", в том числе и в материалах пресловутой мертворожденной "реформы", мелькали все те же Марксовы "антиказарменные", ан-

* Я не рискнула бы назвать этот марксизм ни гуманистическим, ни новым "катедер-социализмом", ибо интеллектуальные западные "профессора и студенты" из "новых левых" мечутся между академичностью и терроризмом, которому время от времени поставляют и фразеологию, и кадры.

тибюрократические общинные призраки. Почему же при интересе к нему стольких людей, и отнюдь не самых худших, а зачастую и замечательных, обобществление все же не состоялось? Идеи Р.Медведева кажутся Н.Прату в известной их части (жаль, что он не сказал, в какой именно) и конструктивными, и даже взрывчатыми. Насколько я помню, Рой Медведев ни разу не предложил ничего такого, чему не было бы прецедента в марксистских первоисточниках. Классики тоже хотели заменить частную собственность общественной, а не государственной. Но не показали, как это можно сделать, не доказали, что это вообще можно сделать, и не объяснили, зачем, в чьих интересах это надо пытаться сделать. Р.Медведев то ли повторяет, то ли самостоятельно, наново продуцирует те же идеи столь же бездоказательно.

Я не принадлежу к числу тех, кого "победа демократического социализма в СССР" лишь огорчила бы, так как доказала бы не мою правоту. Но, к великому своему огорчению, не найдя никаких доказательств обратного, я пришла к точке зрения тех, кого Н.Прат упрекает в пристрастии и злорадстве. Строй, не являющийся современной западной конкурентно-рыночной демократией и тем не менее демократический, есть "нереализуемая утопия". Для нашей эпохи — во всяком случае. Вперед на века загадывать не берусь, так же, как и ориентироваться на каменный век.

Я не думаю, будто "история восточноевропейских стран (Польши, Венгрии, Чехословакии) свидетельствует о том, что такое развитие событий по крайней мере мыслимо" (Н.Прат). Опыт этих стран ничего не доказывает, ибо их существование искажено присутствием, или влиянием, или давлением СССР. Я полагаю, что, не будь этого давления, они возвратились бы ни к чему иному, как к той же правовой конкурентной демократии западного типа.

Если бы российский коммунистический эксперимент прервался в 1917, или в 1921, или в 1927 годах, он остался бы в памяти социалистов второй Парижской коммуной — расп-

таннным реакционерами прецедентом "истинной" "диктатуры пролетариата" или "демократического социализма".

Да и что все-таки подразумевается под словами "демократический социализм"? Ясное, четкое, воспроизводимое право (Н.Винер)? Только такой уровень насилия, который необходим для охраны свободы и права (К.Поппер)? Вмешательство государства лишь в те процессы, которые общество не может осуществить без его помощи (Адам Смит)? Охрана интересов наемных работников? Обеспечение возможности выбора в самых различных плоскостях общественной жизни? Сосуществование разнообразнейших форм собственности?

Все эти и многие другие основы демократического общества вполне умещаются в рамках традиционной демократии. Несомненно, поскольку основой такой демократии является многосторонняя разнонаправленная конкуренция, то ни одна ситуация внутри демократии не стабильна и достижение любой цели требует приложения большой энергии. В какой-то мере марксизм есть историческая реакция европейцев на утомительность демократии, жажда сконструировать строй, одновременно и "справедливый", и устойчивый. Но каждый раз тут мы возвращаемся к сказке про белого бычка: с чьей точки зрения "справедливый"? Относительно чьих и каких критериев? И возникает необходимость в инстанции, поставленной над всеми, способной обзирать все ситуации, соотносить все критерии, то есть выбирать дорогу за всех. И поскольку никакая инстанция на земле не может выполнить такую работу, а соревноваться в достижении независимых личных и групповых целей мы себе запретили, то... никакого "демократического социализма" у нас не получится, а возникнет обыкновенный государственный, тоталитарный социализм. И братья Медведевы предложат нам его постепенно совершенствовать, добиваясь от него всех благ демократии без ее утомительных недостатков.

А это немисливо в принципе, ибо все блага демократии проистекают из той же фундаментальной особенности, из коей

вытекают и все ее недостатки: из конкуренции в экономике, в политике, в идеологии.

Социализм же состоит в отсутствии такой конкуренции.

Демократия отличается от социализма тем, что в демократических обстоятельствах одна владетельная рука не водит все общество на веревочках, как марионетку. Поэтому демократию можно совершенствовать по частям, в деталях, в отдельных ее задачах и свойствах. Социализм нельзя совершенствовать без соизволения на то руки, водящей марионетку по сцене. Всякое посягательство на внеконкурентность этой верховной воли (даже в деталях) есть посягательство на основы строя, то есть преступление его законов. Для демократии же спор, конкуренция, взаимное вытеснение, выбор, стабильная ситуация нестабильности — закон системы. Нравится нам это или нет — другой вопрос...

"Мирнообновленцы" медведевского толка считают себя историками в первую очередь марксизма. Но от них ускользает один вопиющий парадокс в истории марксизма, ленинизма и всего социализма, рассматриваемого достаточно широко. В социализме есть линия этатическая, восходящая через многие опосредования к государственным идеям Платона. В XX веке она ярко представлена хотя бы Шпенглером, о чем мы уже упоминали. И есть в нем линия безгосударственная, общинная, коммунальная. К ней, через французских социалистов типа Фурье, примыкает и Маркс, конечная цель коего — уничтожение классов и государства. А Ленин? Почему, будучи в мыслях и дореволюционной своей программе марксистом, он на деле оказался последовательнейшим шпенглерянцем, хотя, разумеется, никогда этого не декларировал? Почему? На мой взгляд, отнюдь не потому, что он коварно или малодушно изменил Марксу, чьи рецепты продолжала отстаивать "рабочая оппозиция", а потому, что действительность отказалась развиваться по Марксу. Государственники от Платона (а, может быть, и до него) до Шпенглера, чьими именами ряд отнюдь не исчерпывается, проектировали бюрократический конус, построить который

в принципе можно. Но добиться от него желательных для проектировщиков черт: всеблагости, всеведения и всемогущества — невозможно. Безгосударственники проектировали структуру, воспроизвести которую в современном мире вообще нельзя. Ленин совершил шаг, знаменующий утрату социализмом и коммунизмом "человеческого лица" в той точке, в которой, увидев, что утопию Маркса построить не может, он не остановился и продолжал строить то, что получится, лишь бы не отказываться от диктатуры РКП (б). Рой Медведев упрямо считает — и он в этом не одинок, — что нечеловеческое лицо сталинизма связано с роковым поражением "хороших" партийцев и с победой "плохих". На деле же все свойства советского социализма разных эпох predeterminedены неспособностью социальной системы марксистов-ленинцев (сталинцев, хрущевцев, брежневцев) дать народу обещанные блага в сочетании с их решимостью ни в коем случае не отказываться от этой системы, то есть от своей диктатуры.

Н.Прата более всего привлекает в программе Медведева введение в нее права лиц и групп на инакомыслие, гарантированное законом. Но выполнение Хельсинкской декларации гарантировано письменным правом и сегодня! Оно не гарантировано реальным правом! И не может быть гарантировано, если Медведев намерен сохранить то, что он считает социализмом: люди, обладающие реальными личными и групповыми политическими и экономическими правами, от этого строя не преминут отказаться!.. Вот в чем корень фиктивности всех социалистических деклараций права. Летом 1917 года Ленин тоже обещал России многопартийность и свободу печати, но стал перед выбором: власть или верность своим обещаниям. Он выбрал первое.

Н.Прат соглашается с некоторыми медведевскими коррективами к новой, критической интерпретации образа Ленина, которая начала, наконец, пробиваться сквозь пятидесятилетний миф. Однако именно эти медведевские коррективы к нынешней критике Ленина и относятся к числу наиболее жи-

вучих черт самого мифа. Они свидетельствуют о решительной неспособности историка Р.Медведева поставить логику фактов выше того начального идеологического стереотипа, с которым он подходит к исследованию. Иногда Р.Медведев чувствует себя еретиком там, где полностью повторяет Ленина, и безупречным ленинцем там, где приписывает Ленину нечто решительно тому не свойственное. Н.Прат склонен на него в этих случаях полагаться, — и напрасно. Так, "почти еретическая мысль, что октябрьская революция произошла не в силу железной исторической необходимости, а благодаря исключительному стечению обстоятельств" (Н.Прат), принадлежит в марксистской литературе отнюдь не Медведеву; она была предметом долгой межпартийной (между большевиками и меньшевиками) и внутривнутрипартийной полемики. Иногда — в косвенной, иногда — в прямой форме, она неоднократно высказана и Лениным.

Р.Медведев глубоко заблуждается, считая превентивный террор и "имперскую великодержавность" "оригинальными чертами сталинизма". По части превентивного террора в печатном наследии Ленина имеется множество прямых высказываний и директив. В малой доле своей они были мною приведены в №№ 28, 32 и 33 журнала "Время и мы". Многие из них неоднократно приводились и другими авторами. Рою Медведеву грешно их не знать. Уж он-то этого нечитаемого автора, вероятно, читал. Превентивный террор не мог не стать одним из главных приемов колонизации огромной страны ленинской партией: если бы страна успела опомниться и подняться, большевики бы ее не одолели уже. Сам октябрьский столичный переворот был такой превентивной террористической акцией.

Ленин неоднократно рассматривает российскую революцию сначала — как сигнал, а затем — как платформу для наступательного развертывания мировой революции. Это — хрестоматийно: "...победивший в одной стране пролетариат встал бы тогда против всего остального мира..." (разрядка наша). Неужели Р.Медведев не помнит ни одной синонимичной фразы? Но Ленин — блестящий тактик.

Он политический прагматик, а не идеалист. Поэтому его агрессивность ограничивалась, за редкими исключениями, реальным военным потенциалом большевизма. Кстати, в сочинениях Ленина есть и размышления о городской партизанской борьбе в капиталистических странах Запада... А его выступления на различных форумах народов Востока, инспирированных Кремлем, его заверения, что Восток похоронит капиталистический Запад в яме, которую этот последний сам себе вырыл, — Р.Медведев не помнит? А прозорливое ленинское послание в Наркоминдел — с требованием обратить внимание на Южную Африку и послать туда эмиссаров под разными соусами и предложениями (1922)? Остается лишь удивляться империалистической пронциательности Ленина, предначертанного все основные линии наступления большевизма на международной арене, а также — лености мысли его поклонников-демократов. Казалось бы, отношение Ленина к НЭПу — и вовсе не спорный вопрос. Но Р.Медведев и многие другие авторы, в отличие от Ленина, пытаются расценивать НЭП как эволюцию, а не тактику, вынужденную и временную.

Ленин считал оценку НЭПа как эволюции к некоему "конвергентному", как нынче принято говорить, строю меньшевистской диверсией! Он предписывал за подобное "оказательство меньшевизма" и "сменовеховства" "ставить к стенке", и незамедлительно! И, наконец, отождествление диктатуры пролетариата не только с диктатурой партии, а точнее — ЦК, но и с диктатурой личной, и даже единоличной, тоже защищалось Лениным против "демократических централистов", "ропповцев", "мясниковцев", "рабочей партии" и других заблудших печатно, публично и многократно!..

При наличии нынешних Самиздата и Тамиздата, при защищенности Роя Медведева (по крайней мере — сегодня) от репрессий его известностью и связями, вряд ли оправдано "формальное признание" им "ряда пропагандистских фикций", даже в качестве "как бы заявки на легальность", "чего-то вроде формальной присяги на верность "Ее Величеству"

(партии, Н.Прат). Если бы Р.Медведев выходил со своими "фикциями" в легальную советскую прессу, то умолчания и недоговорки имели бы, может быть, какое-то оправдание.

В официальных изданиях печатаются иногда писатели, идущие на такие приемы ради того, чтобы сказать хоть что-то. Но в Самиздате и Тамиздате читатель склонен видеть исчерпывающе честное самовыражение их авторов. Поэтому вряд ли уместны самосохранительные "заявки" в нелегальной печати, для того и существующей, чтобы избавить своих авторов от необходимости лгать или кривить душой. Я уже не говорю о том, что никакие идейные расхождения не оправдывают легальных или нелегальных высказываний, способных помочь тюремщикам и утяжелить положение узников совести.

ФРАНТИШЕК СИЛНИЦКИЙ

**НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА КПСС
В ПЕРИОД С 1917 ПО 1922 ГОД**

Мюнхен, 1978, 309 стр. Работа Ф. Силницкого — это научное исследование национальной политики большевиков в период образования СССР.

Автор анализирует различные течения в РКП (б), говорит о том, как централистские, великодержавные тенденции постепенно начали преобладать и играть главную роль в партии. Работа эта главным образом ценна потому, что в ней содержатся документы архивов Советского Союза, которые прежде не были опубликованы.

Франтишек Силницкий бывший преподаватель Высшей партийной школы в Праге. Он уехал из Чехословакии после оккупации, в октябре 1968 года. В настоящее время живет и работает в Соединенных Штатах Америки.

Цена 10 долларов

**Заказы на книгу посылать в издательство
"СУЧАСТНОСТИ"**

В Европе:

Sucasnist

Karlsplatz 8/111

8000 Munchen 2

Federal Republic of Germany

В США:

Sucasnist

Nina Ilnitckyj

254 West 31 Str. 15 Floor

New York, N. Y. 10001, USA



В.С. ЯНОВСКИЙ

ПОЛЯ ЕЛИСЕЙСКИЕ

(из книги ПАМЯТИ)

7

Салон Мережковских напоминал старинный театр, может быть, крепостной театр. Там всяких талантов хватало с избытком, но не было целомудрия, чести, благородства. (Даже упоминать о таких вещах не следовало.)

В двадцатых годах и в начале тридцатых гостиная Мережковских была местом встречи всего зарубежного литературного мира. Причем молодых писателей там даже предпочитали маститым. Объяснялось это многими причинами. Тут и снобизм, и жажда открывать таланты, и любовь к свеженькому, и потребность обольщать учеников.

Мережковский не был, в первую очередь, писателем, оригинальным мыслителем, он утверждал себя, главным образом, как актер, может быть, гениальный актер... Стоило кому-нибудь взять чистую ноту, и Мережковский сразу подхватывал. Пригибаясь к земле, точно стремясь стать на четве-

реньки, ударяя маленьким кулачком по воздуху над самым столом, он начинал размазывать чужую мысль, смачно картавя, играя голосом, убежденный и убедительный, как первый любовник на сцене. Коронная роль его — это, разумеется, роль жреца или пророка.

Поводом к его очередному вдохновенному выступлению могла послужить передовица Милюкова, убийство в Halles, цитата Розанова-Гоголя или невинное замечание Гершенкрона. Мережковскому все равно, авторитеты его не смущали: он добросовестно исправлял тексты новых и древних святых и даже апостолов. Чувял издали острую, кровоточащую, живую тему и бросался на нее, как акула, привлекаемая запахом или конвульсиями раненой жертвы. Из этой чужой мысли Дмитрий Сергеевич извлекал все возможное и даже невозможное, обгладывал, обсасывал ее косточки и торжествуя подводил блестящий итог-синтез: мастерство вампира! (Он и был похож на упыря, питающегося по ночам кровью младенцев.)

Проведя целую длинную жизнь за письменным столом, Мережковский был на редкость несамостоятелен в своем религиозно-философском сочинительстве. Популяризатор? Плагиатор? Журналист с хлестким пером?.. Возможно. Но главным образом, гениальный актер, вдохновляемый чужим текстом... и аплодисментами. И как он произносил свой монолог!.. По старой школе, играя "нутром", не всегда выучив роль и неся отсебятину — но какую проникновенную, слезу вышибающую отсебятину!

Парадоксом этого дома, где хозяйничала черная тень Злобина*, была Гиппиус: единственное, оригинальное, самобытное существо там, хотя и ограниченное в своих возможностях. Она казалась умнее мужа, если под умом понимать нечто поддающееся учету и контролю. Но Мережковского несли "таинственные" силы, и он походил на отчаянно удалого наездника... Хотя порою неясно было, по чьей инициативе происходит эта бравая вольтижировка: джигит ли такой храбрый или конь с норовом?

*В. Злобин — секретарь Мережковского.

Продолжение. Начало см. в 37 номере.

Copyright В.С. Яновского

Кто-то за столом произносит имя Виолетты Нозьер — героини криминальной хроники того периода (девица, убившая отца, с которым состояла в противоестественной связи).

— Вот, — заливаясь Мережковский и ударяет кулачком в такт по воздуху над столом. — Вот! От Жанны Д'Арк до Виолетты Нозьер — это современная Франция.

— Ах, какой из него бы получился журналист! — не без зависти повторял Алданов, с которым я вышел оттуда. — Ах, какой журналист! Подумайте, одно заглавие чего стоит: "От Жанны Д'Арк до Виолетты Нозьер".

Таковыми штучками — и в плане метафизическом — блистал всегда Мережковский. Но особой глубины и даже свежести, подлинной оригинальности в них как будто не оказалось. Да и правды не было, то есть всей правды. От Жанны Д'Арк до Шарля де Голля — гораздо справедливее и осмысленнее. А Виолетты Нозьер были повсюду, во все времена. Но Мережковскому главное произвести эффект, сорвать под занавес рукоплескания.

Демонизм — это, когда душа человека не принадлежит себе: она во власти не страстей вообще, а одной всепоглощающей, часто тайной страсти. Думаю, что Мережковский был насквозь демоническим существом, хотя что и кто им владели в первую очередь, для меня неясно.

Собирались у Мережковских пополудни, в воскресенье, рассаживались за длинным столом, в узкой столовой. Злобин подавал чай. Звонили, Злобин отворял дверь.

Разговор чаще велся не общий. Но вдруг Дмитрий Сергеевич услышит кем-то произнесенную фразу о Христе, Андрее Белом или о лунных героях Пруста... и сразу набросится, точно хищная птица на падаль. Начнет когтить новое имя или новую тему, раскачиваясь, постукивая кулачком по воздуху и постепенно вдохновляясь, раскаляясь, импровизируя, убеждая самого себя. Закончит блестящим парадоксом: под занавес, нарядно картавя.

Люди постарше, вроде Цетлина, Алданова, Керенского, почтительно слушают, изредка не то возражают, не то задают замысловатый вопрос. Кто-нибудь из отчаянной молодежи лихо брякнет:

— Я всегда думал, что Христос не мог бы сказать о педерастах то, что себе позволил заявить апостол Павел.

— Вы будете вечером на Монпарнасе? — тихо спрашивают рядом.

— Нет, я сегодня в "Мюрат".

8

Мережковский начал с резкого декадентства в литературе. Он был дружен с выдающимися революционерами этого века, такими, как Савинков. Считалось, что он боролся с большевиками и марксизмом, хотя во времена НЭПа вел переговоры об издании своего собрания сочинений в Москве.

Затем он ездил к Муссолини на поклон и получил аванс под биографию Данте. Рассказывал о своей встрече с дуче так:

— Как только я увидел его в огромном кабинете у письменного стола, я громко обратился к нему словами Фауста из Гете: "Кто ты такой? *Wer bist du denn?..*" А он в ответ: "Пиано, пиано, пиано".

Можно себе представить, как завопил Мережковский, вывернутый наизнанку от раболепного восторга, что дуче тут же должен был его осадить: "Тише, тише, тише".

Мережковский под этот заказ несколько раз получал деньги. Переводил этого Данте известный итальянский писатель, поэт русского происхождения Ринальдо Петрович Кюфферле, переведивший и мои две итальянские книги: *Альтро Аморе* и *Эсперанцо Американо*. От него я кое-что слышал о трансакциях Мережковского.

Сам Дмитрий Сергеевич, отнюдь не стесняясь, рассказывал о своих отношениях с Муссолини:

— Пишешь — не отвечают! Объясняешь — не понимают! Просишь — не дают!

И это стало веселой поговоркой на Монпарнасе применительно к нашим делам.

Мережковский сравнивал Данте с Муссолини и даже в пользу последнего: забавно было бы прочесть теперь сей тайноведческий труд по-итальянски.

Впрочем, вскоре поспел Гитлер, и тут родные гады откровенно зашевелились, выползая на солнышко из темных углов.

Мережковский полетел на нюрнбергский свет с пылом юной бабочки. Идея кристально чиста и давно продумана: в России восторжествовал режим дьявола, предсказанный Гоголем и Достоевским... Гитлер борется с коммунизмом. Кто поражает дракона, должен быть архангелом или, по меньшей мере, ангелом. Марксизм — антихрист; антимарксизм — антиантихрист: *quod erat demonstrandum!*

О Муссолини он еще осведомлялся: кто ты есть?.. Но тут, с немцами, и спрашивать нечего: все понятно и приятно.

К тому времени большинство из нас перестало бывать у Мережковских. Кровь невинных уже просачивалась даже под их ковер, в квартирке, украшенной образками св. Терезы маленькой, любимицы Зинаиды Николаевны. Там, на улице Колонель Боннэ, вскоре начали появляться, как потом выразился Фельзен, "совсем другие люди".

Иванов, конечно, пристроился к победному обозу и собирался, наконец, превратиться в отечественного поэта, кумира русской молодежи. Впрочем, думаю, что вполне уютно тогда чувствовал себя только один Злобин.

Злобин, петербургский недоучившийся мальчик, друг Иванова, левша с мистическими склонностями, заменил Философова в хозяйстве Мережковских. На мои недоумевающие вопросы Фельзен добродушно отвечал:

— Мне сообщали осведомленные люди, что у Зинаиды Николаевны какой-то анатомический дефект...

И, снисходительно посмеиваясь, добавлял:

— Говорят, что Дмитрий Сергеевич любит подсматривать в щелочку.

Как бы там ни было, но Злобин постепенно приобрел подавляющее влияние на эту дряхлеющую и выживающую из ума чету. Вероятно, он ее пугал грядущей зимой: холодом, голодом, болезнями... А с другой стороны, борьба с дьяволом-коммунизмом, пайки, специальный поезд Берлин-Москва, эпоха третьего Завета, новая вселенская церковь и, конеч-

но, полное издание сочинений Мережковского в роскошном переплете. Влияние, любовь, ученики.

Догадки, догадки, догадки... Но как же иначе объяснить глупость этого профессионального мудреца, слепо пошедшего за немецким чурбаном. Где хваленая интуиция Мережковского, его знание тайных путей и подводных царств, Атлантиды и горного Ерусалима? Старичок этот мне всегда казался иллюстрацией к "Страшной мести" Гоголя.

Недаром на большом, сводном собрании, где выступал Мережковский вместе с Андре Жидом, французская молодежь весело кричала:

— Cadavre! Cadavre! Cadavre!*

9

В начале тридцатых годов многие читатели "Последних Новостей" обратили внимание на ряд статей, подписанных, кажется, инициалами. Некая матушка М. разъезжала по Франции и описывала русский провинциальный быт; судьба этих заброшенных "колоний" была во многом печальнее нашей. Там преобладали нищета, бесправие, пьянство и доносы. Особенно волновала глава, посвященная Борису Буткевичу (в Марселе), которого автор представлял в виде безвременно погибшего типичного русского бродяги: он работал грузчиком, спился, заболел и умер (совсем как у Горького). Корреспондент, лично, насколько помню, побывал в морге вместе с друзьями покойного, которые опознали труп Буткевича, маринуюемого для анатомического театра.

"А между тем, — цитирую по памяти статью, — уверяли, что Буткевич был культурным человеком, сочинял рассказы, которые печатались даже в "Числах", и его хвалили известные наши критики"... Увы, все это совершенно соответствовало истине.

Буткевич до "Чисел" печатался еще в другом журнальчике, редактируемом Адамовичем и, кажется, Винавером. Помню там его рассказ о бывшем гвардейском офицере, спивающемся в Марселе; это, вероятно, лучшее произведение зарубежья того периода.

*Труп.

Я знал, что Буткевич исчез, растворился в Марселе, но такой дикий, "поволжский" конец меня ошеломил. Действовал и тон статьи: там были настоящая любовь, забота о человеке, соотечественнике, студенте, офицере, поэте, и в то же время полное отсутствие сентиментальности.

— Кто автор статьи? — допытывался я у знакомых.

И наконец Евгения Ивановна Ширинская-Шихматова мне объяснила:

— Это мать Мария. Бывшая эсерка, террористка, поэтесса, ставшая теперь монахиней особого толка: монахиней в миру! Она обставила дом и будет там содержать, кормить убогих. И даже похоронит их приличным образом. Вот какой это человек! — восхищалась Евгения Ивановна, вечная институтка.

От нее же я услышал, что мать Мария, для того чтобы прокормить семью, ходила по эмигрантским квартирам и выводила клопов. Давала объявление в "Последних Новостях": "чищу, мою, дезинфицирую стены, тюфяки, полы, вывожу тараканов и других паразитов".

По словам матери Марии, это была творческая работа: ей было даже приятно уничтожать личинки насекомых.

— Вот какой это человек! — ликовала Евгения Ивановна, которую мы в шутку называли княгиней Савинковой.

Активная революционерка, сестра боевика эсера, спасшего из крепости ее будущего мужа Бориса Савинкова и погибшего затем на виселице, Евгения Ивановна была типичным представителем своей эпохи. Особенностью тех людей являлось, что они довольно часто совершали подвиги, но никогда не трудились сорок часов в неделю, пятьдесят недель в году, до третьего пота.

Евгения Ивановна самолично привозила из Финляндии в Петербург динамит, дружила с невестой Сазонова, терпеть не могла запаха селедки и представляла из себя некую смесь хорошего тона и подполья, конспирации и утомительной болтовни.

Мы жили тогда рядом, на стыке Клармар-Ванв и Исси-Ле-Мулино, часто встречались, и все вели переговоры о новом очередном литературном журнале. Я изредка сотрудничал в

пореволюционных изданиях Ширинского... А по ночам слушал рассказы Юрия Алексеевича о псовой охоте, о лошадях, о георгиевском "червячке", который труднее достается офицеру пехоты, чем артиллерии.

Позже князя Юрия Алексеевича Ширинского-Шихматова, по доносу его бывших пореволюционных или предреволюционных соратников, арестовали и сослали в немецкий лагерь. Передают, что там он вступился как-то за избиваемого соседа и был аккуратно расстрелян.

Разумеется, настоящих свидетелей такого рода деяний нет и не может быть. Как и подвига матери Марии, якобы помнявшейся местами с другой, отправляемой в "печку" заключенной... Замечательно, как молва создает эти благодатные мифы. Ибо душа наша жаждет святого подвига, верит в присутствие рядом духовных воинств И ищет их земного воплощения. Что само по себе уже является чудесной реальностью.

10

Итак, с матерью Марией меня познакомили Ширинские и затем, в продолжение многих лет, я встречал ее в разных местах... Крупная, краснощекая, очень русская, близоруко улыбающаяся и всегда одинаково ровная: как бы вне наших смут, вне шума, вне движения. Хотя сама она очень даже двигалась, шумела тяжелыми башмаками и длинными, темными одеждами, громко пила чай и спорила.

Монументальная, румяная, в черной рясе и мужских башмаках — русское бабье лицо под монашеской косынкой! Добрые люди ее подчас жалели именно за эти неизящные сапоги, нечистые руки, за весь аромат добровольной нищеты, капусты, клопов, гнилых досок, наполняющий целиком ее странно-приимный дом. Благодаря румянцу на щеках (собственно, сетке алых жилок) она казалась всегда здоровой и веселой.

У себя, на заседаниях или лекциях, мать Мария вдобавок еще всегда занималась каким-нибудь рукоделием, никогда не сидя во время беседы просто так, без дела. Вязала, чинила темные, грубые облачения, перекусывая нитку, по-видимому, крепкими зубами.

Есть такое выражение во Франции — *brave femme*: это национальный идеал женщины. Днем — хозяйка, ночью — жена, выполняющая все Богом положенные обязанности, толково и охотно. Эти *femmes*, матери семейств и любовницы инвалидов, сидят в кассе метро, продают билеты, но сверх того еще вяжут свитер или складывают "патроны" — для кройки платьев! Она не прочь согрешить и повеселиться, но не в убыток, а наоборот, повысив месячный заработок. Своего *homme* она не предаст! Переспать с другим, не вынося добра из дому, не грех; она и хахалю позволит порезвиться в меру. Если ей повезет в жизни, она станет хозяйкой литературного и политического салона.

Я часто представляю себе "брав фам" других народов: ведь на них держится быт, семья и даже государственный порядок... Конечно, мать Мария тоже *brave fille*, только русская: с бомбами, стихами, проклятыми вопросами, символизмом или церковным пением.

Сравнительное изучение этих "брав фам" разных национальностей поможет разрешить многие исторические загадки и даже бросит свет на будущее, скажем, китайской империи.

В круг французской идеальной *brave femme* входит тяжелый, добросовестный труд на службе, затем дом, семья, *homme*, и тщательный туалет *intime* (активная и веселая сексуальная жизнь сама собою подразумевается).

В спокойной, хозяйственной, мужественной, всегда добродушной, румяной матери Марии, с ее прошлым поэта, анархистки, а настоящим — практичной строительницы подворья, игуменьи, мне чудился некий идеал русской *brave femme* — вечно живой Марфы Посадницы, способной, конечно, в случае нужды, солить грибы, доить коров и даже рыть метро.

Из западных святых она мне больше всего напоминала Терезу Авильскую (Жанна Д'Арк не укладывается в русскую действительность).

То, что мы слышали о деятельности матери Марии, наполнило сердца чувством благодарности... Чтобы накормить своих нахлебников, она ночью отправлялась с двухколесной тележкой в Halles. Там "французики из Бордо" ее уже знали

и давали безвозмездно остатки зелени, овощей, а иногда сыра и мясных отбросов с костями. (Площадь вокруг Halles надлежало очистить, вымыть — до восхода солнца).

Погрузив всю эту пахучую прелесть, мать Мария торжественно возвращалась из похода, помогая еще своему кухонному мужику или "шефу", бывшему туберкулезному и душевно больному катить тележку.

Как общее правило, ее пансионеры — отставные алкоголики и штабс-капитанские вдовы — мать Марию не любили и часто сварливо учили хозяйку истинному православию, подлинному смирению и даже экономии. Некоторые ходили жаловаться то в церковные инстанции, то в полицейские: писали образцовые русские доносы. Думаю, что святость матери Марии сказалась в мирное время в ее доме не в меньшей степени, чем потом в немецком застенке.

Помогал ей в "Православном Деле" Пьянов: тоже очень красочный человек, чем-то напоминающий американского протестанта или квакера. Вообще в США много похожего на Россию и опыт *prohibition* по наивности своей не уступает ленинской революции. Только американская *brave fille* стоит особняком, постепенно вытесняя своего самца. Это она с Библией и ружьем в руках пошла на дальний запад, распевая демократические гимны и рожая детей.

В своей церкви на рю Лурмелль мать Мария сама раскрасила витражи, изучив секреты средневекового мастерства. Ее церковь казалась декорацией к Борису Годунову, что многогим, вероятно, нравилось (как в опере "Борис Годунов" — церковные мотивы).

Не доходили до меня и стихи матери Марии; она их продолжала сочинять. Даже ее прозу я не мог оценить по достоинству. Можно было ожидать, что человек с ее духовным опытом расскажет гораздо яснее и убедительнее про "Мистику Человекообщения". Статью под таким заглавием она дала для нашего первого сборника "Круга". С одной стороны: несомненный религиозный опыт... А с другой: так мало внятного и ценного для действительного питания. Разумеется, вопрос не ставился, печатать или нет труд матери Марии: мы с благо-

дарностью принимаем все, что она дает! Но... В таком духе высказались многие члены редакции. Однако Фондаминский положил конец нашим досужим толкам:

— Какой тут может быть разговор: это ее личный опыт, чего вам еще надобно!

То что Фондаминский мог такими доводами защищать материал для журнала, доказывает, как далеко он уже успел отойти от своих бывших сверстников типа Руднева-Вишняка.

Статья "Мистика Человекообщения" была напечатана в нашем альманахе, и я по сей день ее не дочитал до конца. Вина, вероятно, моя.

11

На какой-то год очередной пятилетки в России наступил лютый голод. Тогда Ю.А. Ширинский-Шихматов — человек блестящих идей и даже не без способностей к интригам, но, я бы сказал, слабый организатор, что ли, — задумал "мобилизовать общественное мнение на Западе" и, собрав необходимые средства, зафрахтовать пароход, нагрузить его крупой, жирами и отправить в подарок Ленинграду!

Собрание, посвященное этому вопросу, состоялось у матери Марии: весною, вечером, когда весь грязный Париж благоухал и любовно содрогался, как только свойственно ему.

Думаю, что был май: все цвело на шумных бульварах. В большой, пахнущей мокрыми полами трапезной, за длинным деревянным, часто скобленным столом, сидело человек двадцать пять эмигрантов, неопределенного возраста и прошлого. Жена Фондаминского еще хворала, и его я тогда не встречал.

Мать Мария пристроилась сбоку, слегка на отлете — черная, крупная и спокойная — вязала что-то молча. Только к концу она произнесла несколько слов, заявив, что одобряет начинание, но примет ли прямое участие, она еще не знает, ибо должна посоветоваться с одной особой (я понял, с о. Булгаковым).

В комнату то и дело вбегали загадочно посмеиваясь три девицы, этакие тургеневские барышни, но полегче, пощуплее,

в белых весенних кофточках, они щебетали и чему-то радовались, то выбегая на улицу, то возвращаясь в серые, нищие комнаты. Одна из девиц, дочь матери Марии, вскоре уехала в Москву, по ходатайству Алексея Толстого; там она погибла в самое непродолжительное время, при не совсем ясных обстоятельствах. Эренбург, повествуя в своих воспоминаниях, с чужих слов, о деятельности матери Марии в Европе, поступил бы честнее, если бы сообщил подробности смерти ее дочери в Москве.

Между тем, собрание по "мобилизации западного общественного мнения" начало заметно оживать. На Ширинского, к моему наивному изумлению, посыпался ряд горчайших упреков самого неожиданного оттенка. Одни уверяли, что появление корабля с хлебом на ленинградском рейде во время голода может вызвать восстание, а Ширинский воспользуется этим для установления своей диктатуры... Страсти разгорались, еще немного и сокровенное словцо "подлец" или "диверсант" эхом прокатится под сводами.

12

В "Круге" мать Мария выступала с докладами; один, помню, — о Блоке, личные воспоминания. И опять непонятно: о поэте мог рассказать Ремизов, Адамович, Мочульский... Почему она занимается такими темами?

Иванов в кулуарах пускал язвительные шуточки относительно наружности Марии Скобцовой в пору ее встреч с Блоком.

Я часто спорил с матерью Марией или в ее споре с другими присоединялся к "другим". Признаюсь в этом с грустью: мне хотелось разделять ее взгляды, но на практике не получалось!

Жив во мне разговор, происходивший за чаем у Фондаминского: после Мюнхена, когда все чувствовали уже близость конца. Мать Мария, в общем, была вместе с нами, молодежь, против Мюнхена. Но когда это свершилось, она вдруг начала вспоминать прошлую войну в тонах скептических,

явно не одобряя эпические затеи... Помню, ее рассказ о своем брате, студенте, записавшемся юнкером в артиллерийское училище. Не желая дожидаться очереди в тылу, он тут же зачислился добровольцем в пехоту и ушел на фронт. А дома его долго разыскивали, как дезертира из военного училища... Потом она его провожала на юг к Деникину.

— И что осталось от всего этого вдохновения и подвига? — спрашивала мать Мария. От горячего чая ее очки в железной оправе покрывались паром; она их поминутно снимала и вытирала, оглядывая нас выпуклыми, темными, большими, близорукими глазами. — Что осталось от всего этого горения и жертвенного подъема? Ровным счетом ничего не осталось, — продолжала она не спеша, убежденно. — Разве только еще одна могилка у Перекопа. Его гибель была совершенно не нужна и ничего не изменила. А ведь он мог еще жить здесь и с нами работать...

Эти слова "еще одна могилка" и "ровным счетом ничего" были сказаны сестрою с таким чувством, что я считаю долгом их запечатлеть.

Затем мы вместе встречали новый 1940-й год у Федотовых — в последний раз в свободном Париже. Старались даже шуметь, веселиться, но тени близкой европейской ночи уже покрывали наш старый эмигрантский мир.

Мы никогда не узнаем доподлинно, как они умерли: мать Мария, Фондаминский, Вильде, другие... И это совсем не нужно. Есть нечто греховное, суетное в такой жажде реальных подробностей. Несомненно, что все они давно уже шли навстречу своему мученическому концу, не уклоняясь, не отступаясь. И умерли они активной, творческой смертью.

Совершенно равнодушно прошел я мимо некоторых признанных писателей земли эмигрантской (а теперь, пожалуй, советской).

Куприн, Шмелев, Зайцев. Они мне ничего не дали, и я им ничем не обязан.

Бориса Зайцева я все же изредка встречал. Отталкивало меня его равнодушие — хотя и писал он как будто на христианские темы. Стиль его "прозрачный" поражал своей тепловатой стерильностью. Зная немного его семейную жизнь и энергичную жену, думаю, что Борис Константинович в чем-то основном жил за чужой, Веры Александровны, счет.

В 1929 году мне было двадцать три года; в моем портфеле уже несколько лет лежала рукопись законченной повести — негде печатать!.. Вдруг в "Последних Новостях" появилась заметка о новом издательстве — для поощрения молодых талантов: рукописи посылать М.А. Осоргину, на 11-бис, Сквэр Порт-Руаяль.

А через несколько дней я уже сидел в кабинете Осоргина (против тюрьмы Сантэ) и обсуждал судьбу своей книги: "Колесо" ему понравилось, он только просил его "почистить". (Подразумевалось — "Колесо Революции".)

Михаил Андреевич тогда выглядел совсем молодым, а было ему, вероятно, уже за пятьдесят. Светлый, с русыми, гладкими волосами шведа или помора, это был один из немногих русских джентльменов в Париже... Как это объяснить, что среди нас было так мало порядочных людей? Умных и талантливых — хоть отбавляй! Старая Русь, новый Союз, эмиграция переполнены выдающимися личностями. А вот приличных, воспитанных друзей мало.

Мы с Осоргиным играли в шахматы. По старой привычке он при этом напевал арию из "Евгения Онегина": "Куда, куда, куда вы удалились?"... Играл он с энтузиазмом.

Чтобы достать шахматы с верхней книжной полки, Осоргину приходилось с усилием вытянуться, хотя по европейским понятиям был он роста выше среднего, его молодая жена, Бакунина, тогда неизменно восклицала:

- Нет, Михаил Андреич, этого я не хочу, чтобы вы делали! Скажите мне, и я достану.

А я, к удивлению своему, замечал, что дыхание этого молодявого, светлоглазого "викинга" после любого резкого движения сразу становится трудным, а лицо бледнеет.

Работал он много и тяжело. Так же, как Алданов, Осоргин

любил подчеркнуть, что никогда не получал субсидий и подачек от общественных организаций. Ему приходилось писать два подвала в неделю для "Последних Новостей". Даже фельетоны его и очерки свидетельствовали о подлинной культуре языка.

Вообще, русский язык — это живая болячка отечественных писателей: все поминутно упрекают друг друга в безграмотности. Когда-нибудь я соберу и издам антологию отзывов одних знаменитых сочинителей относительно грамматики, синтаксиса и даже орфографии других не менее удачных современников. Это будет воистину грустная и поучительная книга.

Начиная с Пушкина, утверждавшего, что Державин писал по-татарски, вплоть до Ремизова, подчеркивавшего острым карандашом в журнале очередные ошибки Бунина и Сирина — в русской словесности тянулась сплошная и безобразная междоусобица, напоминающая лучшую пору смутного времени. Упрекать больших и даже классических писателей в незнании собственного языка редко позволяли себе литераторы западного мира.

Есть общий уровень французского языка, которого достигают все молодые люди, кончившие лицей и сдавшие башо; художники сверхкласса, вроде Пруста или Андрэ Жида, пишут лучше или чище: здесь тайна стиля... То же, по-видимому, происходит в великой английской культуре; юнцы, кончившие Кембридж или Оксфорд, могут иметь различные симпатии и верования, темпераменты и стили, но это не коснется основ языковой культуры. И главное, им не нужно идти на учебу к своему мужику, чтобы усовершенствоваться или освежить речь.

Гениальный стилист Джэймс Джойс кувыркается на канате, тогда критика именно это отмечает: акробат!.. Если же неудачник не прошел общепринятой школы, то это так очевидно, что не стоит распространяться: приличные собеседники не замечают, когда рыгают в гостиную.

Как общее правило, на Западе писатели о писателях если и высказываются, то с подчеркнутой вежливостью и осторож-

ностью, принятыми между соперниками на дуэли. Ибо всем ясно, что современники являются конкурентами: отрицать это могут единственно ханжи и лицемеры.

Только в русской литературе, где претензии относительно могучего, богатого, великого языка превышают все другие домогания, только там, из всех великих литератур, писатели сплошь и рядом затевают между собою драки, не брезгуя даже приемами ломовых извозчиков.

И объясняется это совсем не тем, что Достоевский — мистик, а Салтыков-Щедрин — либерал, или наоборот.

Зависть — вполне реальная и общечеловеческая черта. После грехопадения, зависть, ревность, честолюбие подтачивали не только русскую, всеобъемлющую душу. Но к западу и к югу от Рейна, в особенности в англосаксонском мире, всем ведомо, что если один модный писатель начнет подсчитывать промахи другого, то делает он это совсем не по соображениям благородной незаинтересованности. (Даже ссора молодого Толстого с Тургеневым пример того же порядка.)

Зная все это инстинктом воспитанных людей, англосаксонские писатели вообще воздерживаются от критических выступлений по адресу своих соперников.

Впрочем, кроме низкого уровня культуры и дурных русских нравов, тут налицо еще одно обстоятельство, которое следует отметить... Судя по свидетельству весьма авторитетных, хотя и заинтересованных лиц никто по-русски не пишет правильно. Получается, что грамотно на нем пока еще невозможно изъясняться: иными словами, этот язык еще находится в стадии образования, развития.

Великим, могучим, совершенным я назову язык, который знают в совершенстве академики, а не мужики; великий, могучий, культурный язык должен иметь вполне законченный академический словарь, переиздающийся с дополнениями каждые пять-десять лет... (Старое издание можно купить на рынке за гроши.) Увы, это все достояние только англичан, французов, американцев.

"Колесо" прибыло из Берлина, где печаталось, и Осоргин пошел со мною в книжный магазин "Москва"; он один догадывался, что творилось с Яновским, сам я не понимал, что счастлив.

Парижская сырая зима, мокрые улицы возле Медицинской школы; рядом со мною заслуженный писатель: стройный, — хочется сказать гибкий, — в какой-то заграничной, итальянской широкополой шляпе, весьма похожий на Верховенского (старшего). На рю Мэсье-ле-Прэнс мы вошли в бистро и выпили по рюмке коньяку, трогательно чокнувшись. Все, что мы тогда делали, я теперь понимаю, было частью древнего ритуала.

В "Москве" нас встретил озабоченный и вовсе не романтической наружности гражданин с бритой головой и в тесном берете. Нам вынесли высокую стопку "Колеса" — живые, еще пахнущие типографией листы. Заглавие на обложке было набрано западным шрифтом: буква "л" оказалась опрокинутым латинским "v"... Это была идея Осоргина, и он гордился ею. Я же тогда считал все вопросы касательно обложки, красок и расположения текста смешными, не относящимися к сути дела.

Михаил Андреевич достал из кармана список лиц, которым я должен был, по его мнению, послать книгу, и я начал вкривь и вкось выводить — "на добрую память... с уважением". Забавно, что Ходасевичу, с которым Осоргин пребывал в ссоре, мы не послали "Колеса".

В серии "Новые Писатели" до меня вышла еще книга Болдырева "Мальчики и Девочки". Предполагался еще "Вечер у Клэр" Газданова, но Черток перебежал дорогу и получил рукопись для своего издательства.

Газданов, маленького роста, со следами азиатской оспы на уродливом большом лице, широкоплечий, с короткой шеей, похожий на безрогого буйвола, он все же пользовался успехом у дам. В литературе основным его оружием, кроме внешнего, словесного блеска, была какая-то назойливая, перманентная ирония: опустошенный и опустошающий скептицизм.

Я никогда не мог признать самостоятельной ценности юмора и сатиры. Помню, как я возликовал, когда впервые услышал от Шестова:

— С каких это пор смех — аргумент?..

Болдырев, вскоре после издания своей повести, покончил самоубийством. (Звали его еще, кажется, Шкотт: мать его была шотландкою, что ли...)

С мягким, в общем, очень русским лицом, светлоглазый, медлительный Болдырев начинал всецело под литературным влиянием Ремизова. Он считался отличным математиком и давал частные уроки по этому предмету, чем и кормился. Изредка я его встречал на Монпарнасе в обществе одной незнакомой мне девицы. Однажды я ему сообщил, что предполагается издание нового журнала — не хочет ли он принять участие...

Болдырев посмотрел на меня удивленно, с натугою (в 1941 году в Монпелье я узнал этот взгляд у Вильде, когда я попросил его передать друзьям в "Селекте" привет).

— Нет, это не для меня теперь, — медлительно ответил Болдырев. — Нет, это не для меня.

Мы постояли молча еще с полминуты и разошлись навсегда: через несколько дней он покончил с собой. Как мне потом передавали, Болдырев давно уже хворал, и доктора его уверили, что ему угрожает полная потеря слуха... Глухой, как же он проживет? Это конец. Культивируя в себе английскую отчетливость и шотландское уважение к разуму, он решил, что надо делать безжалостные выводы. И принял соответствующие порошки в надлежащем количестве.

Сколько их, людей, особенно литераторов, погибло на моей памяти, запутавшись в дебрях ложной жизненной или художественной школы. Думаю, что даже весь русский серебряный век мог бы оказаться удачею, если бы только его главные герои — Вячеслав Иванов, Бальмонт, Брюсов, Сологуб, Андреев и многие другие — не следовали упрямо за выдуманной ложной школой... А в 19 веке все эти ходоки в народ и певцы заплатанных овчин — от Гоголя до Горького — сплошная жертва собственного, добровольного социального заказа.

— Я не порицаю его, — говорил, волнуясь, Осоргин, закуривая очередную папиросу с русской гильзой, — он прав! Что бы он делал здесь глухой, в этом возрасте? Клянчил бы в Союзе Литераторов?

После панихиды я очутился в обществе двух странных поэтов: Кобякова и Михаила Струве. Объединяла их необычная черта — оба уже пытались кончить самоубийством, но их как-то отхаживали. В "Последних Новостях" даже напечатали некролог Андрея Седых, посвященный М. Струве.

— Ошибся маленько Болдырев! — сказал, будто крякнул, Кобяков, и его огромный кадык на тонкой шее дернулся, словно клюв. — Пяти минут не рассчитал Болдырев!

— Да, — рассеянно согласился Струве. — Я тоже так понимаю.

Спорить с этими специалистами не хотелось; что-то их пугало и обижало в решительном прыжке Болдырева.

Таким образом, вся серия "Новых Писателей" фактически свелась к одному Яновскому, и Осоргин сохранил некую отеческую нежность ко мне. Дал все адреса своих переводчиков, и в итоге "Колесо" начали переводить. По-французски оно вышло под заглавием: "Sachka l'Enfant qui a Faim". Только с течением времени, получив некоторые "мертвые" указания от других писателей, я смог оценить услугу Осоргина.

По его совету, я послал "Колесо" Горькому в Соренто и получил от него два письма, вскружившие мне голову.

В Монпелье однажды Александр Абрамович Поляков, которого я посвящал в тайны беллота, передал мне пакет черных маслин, присланных ему Осоргиным, сам Поляков этих залежавшихся оливок не мог или боялся есть.

Я маслины использовал вполне, вымочив их предварительно в вине, и черкнул Осоргину несколько слов благодарности. Получил в ответ длинное письмо — это была наша последняя "встреча".

В Нью-Йорке я узнал о его кончине. Радуюсь, что он умер в родной Европе, в виду Луары, под благословенным галльским небом. Осоргин любил описывать прелести родной Оки

или Камы. Но жил он на тех берегах едва ли больше десятка лет. И есть у меня думка: Осоргин в Москве завыл бы от тоски. (Как и многие подлинные эмигранты: Герцен, Тургенев, Гоголь — все разные и в чем-то схожие.)

Мне кажется, что большинство безобразий в истории России объясняются ее отвратительным климатом. Поэты обманывают обывателя, воспевая снега, и мороз-красный нос, и лихую тройку с бубенцами, и жаворонка (высоко, высоко) в синем небе. А ведь, вообще, господа, паскудно жить в России — метеорологически говоря!

Кстати, периодический голод, поражающий Русь (как и Китай) со времен Ивана Калиты до Никиты Хрущева включительно, пещерный голод этот объясняется в значительной мере ее климатом. Подумайте, друзья, ведь есть страны, где собирают ежегодно по два-три урожая. (И березку там не почитают как священное деревцо.)

На пасху я получил письмо от Алексея Михайловича Ремизова — в ответ на мое "Колесо". Трудно разбираемая, свое нравная кириллица удостоверяла: "У Вас есть лирика, без нее не знаешь как прожить на этой земле"... Затем следовало приглашение: такой-то день, такой-то час.

Все воспоминания о Ремизове начинаются с описания горбатого гнома, закутанного в женский платок или кацавейку, с тихим внятным голосом и острым, умным взглядом... Передвигалось это существо, быть может, на четвереньках по квартире, увешанной самодельными монстрами и романтическими чучелами. Именно нечто подобное мне отворило дверь еще в доме на Порт-Руаяль и проводило в комнаты.

Но увы, чувство неловкости зародилось у меня тогда же и только росло, увеличиваясь с годами. Часто, часто я просто не мог смотреть Ремизову в глаза, как бывает, когда подозреваешь ближнего в бесполезной и грубой лжи. Вначале неосознанным образом, но постепенно все определеннее, я начал по-

нимать, что именно раздражает меня в Ремизове и в его окружении... Какая-то хроническая, застарелая, всепокрывающая фальшь. По существу, и литература его не была лишена манерной, цирковой клоунады, несмотря на все пронзительно-искренние выкрики от боли.

В этом доме царила сплошная претенциозность... Вечные намеки на несуществующие, подразумеваемые обиды и гонения. Все "штучки" Ремизова, вычурные сны и сказочные монстры, в конце концов, били мимо, как всякий неоправданный вымысел. Он быстро заметил перемену во мне и перестал надоедать своими рисунками, снами и неопределенными намеками. Стал гораздо откровеннее, проще и ближе.

Любопытно, что приблизительно через такое же разочарование прошли многие наши литераторы, вначале обязательно влюблявшиеся в Ремизова: иные даже кончали подлинной ненавистью, не вынося этой ложно-классической атмосферы.

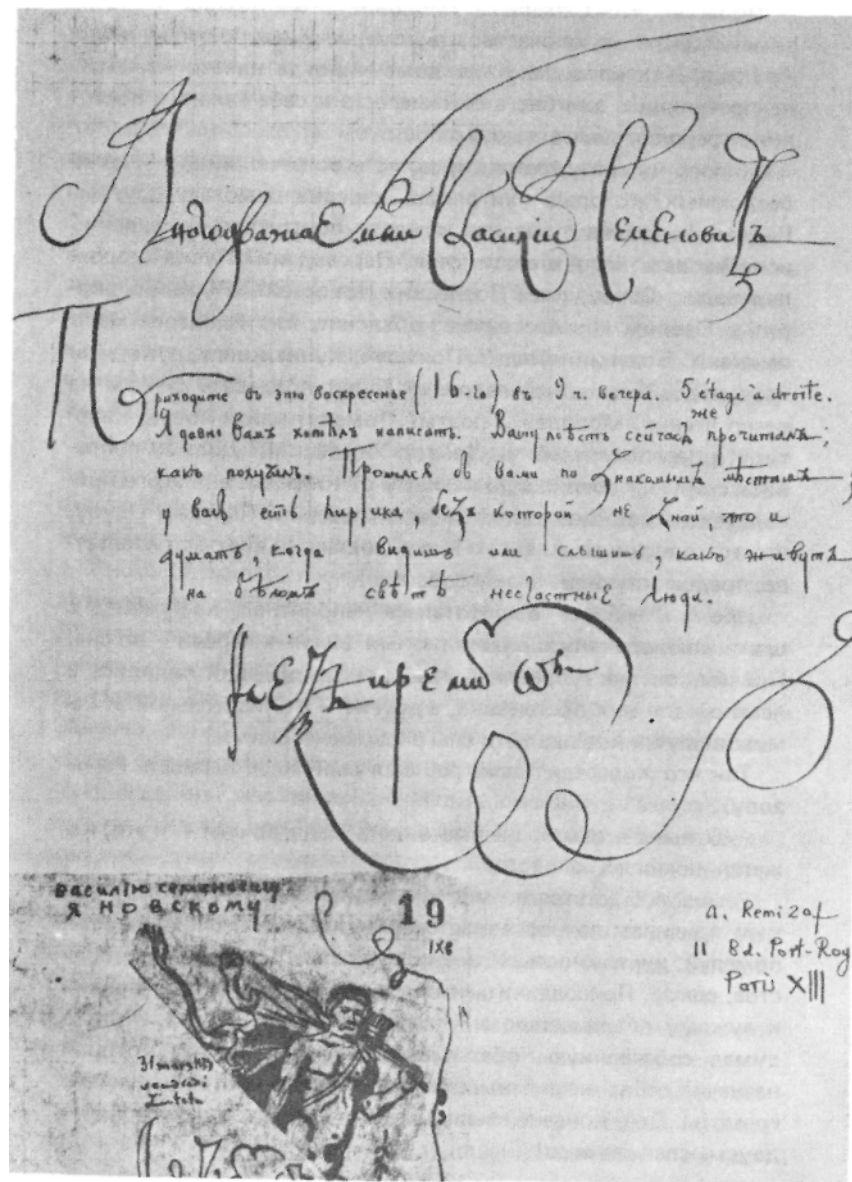
В конце двадцатых в начале тридцатых годов Ремизов был кумиром молодежи в Париже. А через несколько лет о нем уже все отзывались с какой-то усмешечкой и редко к нему навевались. Как ни странно, о Ремизове часто отзывались таким образом:

— Вот подождите, я когда-нибудь сообщу всю правду про него.

Правды, впрочем, особой не было... Кроме той, что Ремизов постоянно апеллировал к истине и искренности, а сам непрестанно "играл" или врал.

Говорили, что Серафима Павловна Ремизова-Довгелло, страдавшая сплошным ожирением тканей, оказала на мужа благодатное влияние. Она преподавала древнюю русскую палеографию, и кириллица Алексея Михайловича, да и много других штучек от нее!

Я в жизни часто убеждался, что так называемое "спасительное" влияние дам в действительности почти всегда является попыткой задушить своего спутника под благовидным предлогом. Это верно от Данте с Беатриче вплоть до Оцуа с его красавицей (впрочем, Данте имел еще других, более серьезных поводырей).



Полагаю, что Серафима Павловна ответственна в значительной мере за ханжество, лицемерие и попрошайничество Алексея Михайловича. В их доме никогда ничем, кажется, не поступились для блага ближнего; а к себе Ремизов постоянно требовал евангельской любви.

Жилось им, разумеется, худо, но я встречал нищих и даже бездомных, которые ухитрялись изредка помогать другим. В доме Ремизова старались каждого посетителя немедленно использовать: хоть шерсти клок. Переводчик? Пускай даром переводит. Сотрудник "Последних Новостей"? Пусть поговорит с Павлом Николаевичем, объяснит, что Ремизова мало печатают. Богатый купец?.. Пожалуй, купит книгу, рукопись, картинку. Энергичный человек? Будет продавать билеты на вечер чтения. Молодежь, поэты? Помогут найти новую квартиру и перевезут мебель. Доктор Унковский? Должен поправить старую, прогнившую резинку от клизмы: для этого пригодится именно доктор, хе-хе-хе. Кельберин? Передаст Оцупу, что тот приснился Алексею Михайловичу (и все обстоятельства, предшествующие этому событию).

Ибо у Ремизова выработалась неприятная, на границе с шантажом, практика: видеть разных важных персон — во сне! Причем, он мог управлять этими грезами: одни являлись в лестной для них обстановке, а другие — в унижительной. И Ремизов опубликовывал эти сны с комментариями.

Так что Ходасевич даже раз был вынужден написать Ремизову:

— Отныне я вам запрещаю видеть меня во сне! — и это, кажется, помогло.

Ремизов с детства по многим социальным и психологическим причинам почувствовал свою одинокую беспомощность, пожалуй, ничтожность. И оценил значение организации, общества, союза. Присоединиться одним из равных или последних к чужому объединению ему казалось невыгодным... Он придумал собственную "обезьянью" ложу, магистром которой назначил себя; а приятным людям выдавал соответствующие грамоты. Это, конечно, была игра, но, как все в этом доме, — двусмысленная игра!

Гость, усаживающийся за чайным столом у Ремизовых, сразу начинал задыхаться от какого-то томительного чувства... Алексей Михайлович своим московско-суздальским говором, тихим, но таким внятным и четким, точно он чеканил ртом добротную монету, сообщал замысловатую историю, из которой можно было догадаться, что его опять обидели, обошли, подвели.

Само собою подразумевалось, что все благородные и умные люди только и ждут случая, чтобы вступить за Ремизова. Предполагалось, что весь мир в заговоре против хозяина, а мы, теперь собравшись, обсуждаем меры противодействия силам тьмы и зла. Невольно каждый начинал себя чувствовать заговорщиком, что и создавало удушливую атмосферу лжеклассической драмы.

Алексею Михайловичу совсем не жилось хуже, чем другим писателям его поколения. Он занимался исключительно своим любимым делом и жил в оплаченной, правда, с опозданием, квартире, с кухней и ванной.

Писал он много, очень много, так как редко выходил из дому и, по слабости зрения, читал все меньше и меньше. Думаю, что после него осталось больше сотни ненапечатанных книжек: пересказов былин, снов, дневников и повестей. Но и издавал Ремизов изрядно: во всяком случае, не меньше Зайцева или Шмелева. Так что опять-таки его беда являлась частью общей эмигрантской болезни.

Иногда при мне он заканчивал какую-нибудь запись, близоруко переписывая ее в последний раз: тщательно выводя каждую букву отдельно... Это действовало на случайного свидетеля, заражая его энергией мастерства. Полуслепой, плотный карлик, припавший выпуклой грудью к доске стола, строчит: дьячок московского приказа, быстро, быстро пишет, выговаривая губами отдельные слоги.

Уходя от него после такого урока, хотелось немедленно сесть за рукопись и вот так смачно "ощупывая" ртом всякую букву, пропустить текст через сито ремесленного искусства.

Он учил нас обращать внимание не только на слова, но и на слоги или буквы, учитывая соотношение гласных и соглас-

ных, шипящих, избегая жутких русских причастий, вроде: кажущийся, чертыхающийся, являющийся и т.д. и т.д...

— Я видел ваш почерк, — весело, на ходу, занятый более важными гостями, бросал мне Ремизов при первом визите. — Надо выписывать каждую букву отдельно, в этом секрет хорошего письма.

О "Воспоминаниях" Бунина часто отзывались с возмущением... В самом деле, ни к одному из своих современников он не отнесся с участием (одно исключение, кажется, Эртель).

Но то же самое проделывал и Ремизов: всех разносил, ругал и порицал. С той разницей, конечно, что был он типичным неудачником, без Нобелевских медалей, и ему должно прощать известную долю завистливой горечи.

Все писатели, разумеется, не знают русского языка и берутся не за свое дело... Особенно доставалось тем, кому хоть немного везло, — Бунину, Сирину. Ремизов хватал очередную книжку "Современных записок", где тогда без перебора, из номера в номер печатался Сирин, и читая вслух старательно подчеркнутую фразу, например, "От стихов она требовала ямщик-не-гони-лошадиного"... возмущенно жаловался: — Вот давно избитое выражение "цыганщина", "романс" он заменяет строкой из пошлой песни и думает, что состряпал нечто новое! А все потому, что берутся не за свое дело.

В его злобном отношении к Бунину чувствовалось нечто классовое, сословное. Даже когда Осоргину, благоговевшему перед Ремизовым, привалило счастье и он сорвал десяток тысяч долларов в Америке, Алексей Михайлович немедленно обиделся...

В этих рейдах против врагов Серафима Павловна его молчаливо поддерживала. Вся она расплылась от волн жира... Без шеи, лицо, пожалуй, сохранило черты былой миловидности... детский, маленький носик.

Несмотря на свою ужасную болезнь, сущность которой заключалась в том, что она все превращала в жиры и откладывала их, или, может быть, по причине болезни, Серафима Павловна непрерывно что-то жевала. Она ежедневно проводила несколько часов в магазине, помогая у кассы и уничтожая гору изюму, пастилы, орехов.

Популярность у молодежи льстила Ремизову; на этой карте он удачно обошел Бунина. Одно время за его воскресным чаем собиралось человек тридцать новых литераторов. Но продолжалось такое оживление не долго. Уход молодежи оставил еще одну язву в обиженном сердце.

16

У Ремизова я познакомился с Замятиным после его приезда в Париж. Впечатление осталось: крепкий, целеустремленный ремесленник.

Покинув СССР, Замятин, однако, вел себя с примерной осторожностью, не желая или не умея порвать с потусторонней властью. От него ждали пламенных слов, смелых обличений — обвинительного Акта... Чего-то среднего между Золя и Виктором Гюго. А он читал на вечерах свою "Блоху" (из Лескова) и сочинял сценарии для "русских" фильмов во Франции: "Le Bateliers de Volga". Он рассказывал о московских писателях. О Шолохове сообщил, что во втором томе "Тихого Дона" автор, по-видимому, использовал чужой дневник. Твердо помню, что речь шла только о втором томе и отнюдь не о "Тихом Доне" в целом.

Тогда еще были живы многие писатели, замученные Отцом Народов (увы, только ли Отцом), Мандельштам, Бабель, Зощенко, Пильняк... Замятин догадывался о ждущей их судьбе, но этой темы он не касался. Знаю, что он дорожил успехом "Блохи" в Москве и все еще получал оттуда деньги. Над его письменным столом в Пасси висел большой советский плакат "Блохи". И своего "Обвиняю" или "Проклинаю" он так и не произнес.

Клеймить его грешно: так вели себя и другие сочинители, попадавшие проездом в Париж: Бабель, Киршон, Пастернак, Федин, В.Иванов.

В русской классической литературе есть разные образцы высоких подвижников: старец Зосима, Платон Каратаев, Алеша Карамазов... Это святой жизни личности, но понятия о чести они не имеют! Ибо над западной, католической

честью (honneur) наши художники старого стиля считали обязательным глумиться, как и над французами и полячишками. Посмотрите, сколько все-таки примерных бар, не только крестьян в "Войне и Мире", и ни одного стоящего француза. Наполеон с маршалами и все другие иностранцы говорят сплошную чушь, с ложным пафосом... И это у Толстого. А Достоевский — уже неприличный пасквиль или клюква!

Задолго до большевиков начали на Руси издеваться над такими буржуазными условностями, как честь и достоинство личности. До христианства и гоголевского православия не докатились, а "гонор" профуфукали: не только фактически, но что хуже, и в идеале — метафизически!

Русский мужик, как и боярин, испокон веков верил, что от поклона голова не отвалится, а покорную голову и меч не сечет, и тому подобную мудрость. Танцует Хрущев гопака вокруг стола Отца Народов и думает: "Быть мне помощником письмоводителя"! А другие кандидаты смотрят на него с одобрением и завистью.

После внезапной смерти Замятина Ремизов мне сообщил:

— Вчера я видел во сне Евгения Иваныча... Нос у него совершенно сплюснутый, раздавленный и оттуда кровь капает. Я понял — это душа Замятина... Хряц перебит, и густая, темная кровь течет. Понимаю: страдает очень, а помочь нельзя, поздно! Он сам искалечил себя "Блохой" и тому подобным успехом.

Передаю по памяти, уверен, что среди бумаг Ремизова сохранилась соответствующая запись. Алексей Михайлович не забывал таких снов и не сжигал своих блокнотов.

Раз я не явился на его очередной весенний вечер — с какой яростью он меня потом ругал:

— А билетом моим, что я вам послал, вы в клозете подтерлись, подтерлись! — со жгучей обидой повторял он, точно речь шла Бог весть о каком кощунстве. (Билеты свои Ремизов подкрашивал и подклеивал рождественской мишуру всю зиму.)

После выхода в свет моего романа "Мир", главы которого он читал в гранках, Ремизов похвалил в нем только одно неприличное место:

— Это хорошо, что кот съел, — блаженно улыбаясь сквозь толстые стекла, говорил он. — Я вчера показал это описание Мочульскому и тот просто ужаснулся: а ведь сам, небось, шалун... Я тут иногда смотрю на гостей и думаю: как ты, голубчик, все делаешь дома? — опять загадочно ухмыльнулся он.

Разные его позы — гнома, колдуна, болотного попики, недотыкомки — были игрой, обязательной данью того времени. Тут и Блок, Лесков, Мелкий Бес, Мельников-Печерский со всеми Ярилами и Перунами.

— Читайте мою "Посолонь", — советовал он поклонникам. — Там вся тема.

Я возражал, что, вероятно, Флобер со своим методом каторжной работы и "чистки" тоже повлиял на Алексея Михайловича. Ремизов осклабился:

— Это, что и говорить, это верно, но это потом. А начало с о е , в "Лесах" Мельникова-Печерского. ("Ремизов — почти гений, а учился у скверного писателя", думал я с удивлением.)

Усвоив огромный опыт нужды, Алексей Михайлович больше всего негодовал, когда на его скромную просьбу отвечали: "нынче всем худо". Это он считал пределом эгоизма и лицемерия.

Во время бегства из Парижа мне пришлось таскать с собою повсюду щенка, подброшенного нам в Тулузе. И люди кругом, беженцы негодовали, а иногда и затевали драку под предлогом, что "теперь не до собак, детки гибнут"... Тогда я вспомнил и оценил вполне эту ремизовскую ненависть к обывательскому "нынче всем плохо"!

Как-то летом, во время каникул, когда все в отъезде, Фельзен начал по воскресным вечерам ходить к Ремизову с визитом. Туда же являлась одна его дама сердца. Посидев немного, они уже вместе отправлялись дальше.

А зимой на мой вопрос, почему он перестал бывать у Алексея Михайловича, Фельзен сообщил:

— Ноги моей у этого ханжи не будет больше! Звоню, отворяет дверь сам Алексей Михайлович и сразу говорит: "А знаете, Николай Бернгардович, у меня не дом свиданий".

— Ну! — ахнул я. — Что же вы?

— Я ничего, — снисходительно рассказывал Фельзен, и я понял — он прав, именно так надо себя вести! — Я ничего не ответил, — уверенно продолжал Фельзен. — Прошел, как полагаются в столовую, там уже сидела Н.Н.... Поздоровался со всеми, поболтал минут пять и вышел. Больше ноги моей у него в доме не будет.

Ремизов тоже передавал мне этот эпизод со смесью гордости и страха.

— Вот вы это поймете! — несколько раз повторил он таким тоном, что я подтвердил:

— Конечно, вы правы, Алексей Михайлович.

(Окончание в следующем номере).

Издательство КАНЭ выпустило в свет роман
Нелли ГУТИНОЙ

"ДВОЙНОЕ ДНО"

Роман рассказывает о мире подпольного бизнеса в Советском Союзе, о причастности партийных верхов к подпольному бизнесу, о механизме обогащения советских миллионеров, о их двойной жизни в условиях советского режима.

Сюжет романа строится на многочисленных жизненных перипетиях подпольных бизнесменов в СССР, постоянно рискующих жизнью и свободой в условиях "организованной экономики".

370 стр. Издательство КАНЭ. Тель-Авив, РОВ 1697.

Цена за пределами Израиля — 8 долларов.

БОРИС ШРАГИН. ПРОТИВОСТОЯНИЕ ДУХА.

OVERSEAS PUBLICATIONS INTERCHANGE LTD.

LONDON. 1977. 40, ELSHAM ROAD, LONDON W14 8NB, England.

Английский перевод: Цена — 6 фунтов.

12 долларов.

BORIS SHRAGIN. THE CHALLENGE OF THE SPIRIT. A BORZOI BOOK PUBLISHED BY ALFRED A. KNOPF. NEW YORK. 1978. 201 East 50th Street, New York, N.Y. 10022. U.S.A.

Цена — 10 долларов.

В книге рассматриваются связи между русским прошлым и современностью, роль русской интеллигенции в отечественной истории.

"Г-н Шрагин считает, что современный интеллектуальный диссидент в России может быть понят как экзистенциальный жест, как утверждение свободы личности наперекор официальной лжи, преследованиям и тупому безучастию".

Макс Хейвурд. THE NEW YORK TIMES BOOK REVIEW. "Эта книга написана... в традиции широкого спекулятивного мышления, с которой западный читатель уже встречался у Бердяева".

Генри Гиффорд. THE NEW YORK REVIEW OF BOOKS, "...книга заслуживает теплого приема у американских читателей, которые найдут в ней наилучший, из всего до сих пор опубликованного, отчет об истоках, развитии, современном положении и будущих перспективах диссидентского движения в России".

Роберт М. Слассер. BALTIMORE SUN.

"...источник авторской страстности, пафоса, доказательств лежит не столько в наших "вечных" вопросах и не в построении концепций, а в конкретном противостоянии конкретному и даже называемому лицу и кругу людей, который этим лицом как бы определяется. Это лицо — А. Солженицын".

Е. Брейбарт. "Посев".

ЗАКАЗЫВАЙТЕ РУССКОЕ ИЗДАНИЕ В ЛОНДОНСКОМ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ ИЛИ В РУССКИХ КНИЖНЫХ МАГАЗИНАХ.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ХЕДРИКЕ СМИТЕ

Так получилось, что с Хедриком Смитом мы первый раз встретились еще в июне 1973 года, в Москве, на площади Маяковского. Он был тогда московским корреспондентом "Нью-Йорк Таймс", а я, будучи уволенным из "Литературной газеты" и получив отказ от ОВИРа, добивался разрешения на выезд.

Когда он, высокий и в те дни с бородой, облика абсолютно не московского и не советского, вышел из автомобиля, я тотчас же увидел, что свидание наше будет проходить под негласным наблюдением других лиц, облика абсолютно советского, и пристально следивших за каждым нашим шагом.

Мы прогуливались возле кинотеатра "Москва", и следом за нами неотступно прогуливались "они", и под "их" наблюдением бывший корреспондент "Литературной газеты" давал интервью корреспонденту "Нью-Йорк Таймс". Интервью обо всем: о жизни московских журналистов, о московских писателях, о Чаковском и даже о "неуправляемых ассоциациях", выискивать которые обязана была советская цензура. Потом мы встретились у меня в квартире, на улице Правды, точнее, не в квартире, а на балконе, на всякий случай, подальше от стен и потолков, где, возможно, была встроена звукозаписывающая аппаратура.

Вот так, под неусыпным оком властей и КГБ, идя иной раз на прямой риск — в учреждениях, на дипломатических приемах, на улицах, в частных квартирах, Хедрик Смит собирал материал для своей будущей книги "Русские", ставшей бестселлером и огромными тиражами разошедшейся по всему миру.

Предлагаемая читателю глава "Привилегированный класс", вероятно, нуждается сегодня в некоторых коррективах. Изгнаны из России Солженицын, Ростропович, Неизвестный. Жестоким преследованиям подвергается Андрей Дмитриевич Сахаров, отнесенный автором к советской элите. Иные из упоминаемых деятелей советской партократии уже сошли с арены, иные вообще отошли в мир иной. Но все это не снижает актуальности книги, рисующей Россию подлинную, без прикрас, такую, какую, может быть, даже не знали многие из нас, прожив там большую часть жизни.

Виктор ПЕРЕЛЬМАН



"...всякому ленинцу известно, если он только настоящий ленинец, что уравниловка в области потребностей и личного быта есть реакционная мелкобуржуазная нелепость..."

Сталин, 1934 г.

Хедрик СМИТ

ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЙ КЛАСС

ДАЧИ И "ЗИЛЫ"

В любой будний день отправьтесь, подобно мне, в послеобеденные часы на улицу Грановского, неподалеку от Кремля. Вы неизбежно увидите там два ряда блестящих "Волг" с тихо, вхолостую урчащими двигателями, а в них — шоферов, внимательно смотрящих в зеркало заднего вида. Несмотря на знаки "Стоянка запрещена", они поставили машины на тротуары, нисколько не беспокоясь о милиции, уверенные в безнаказанности. Внимание их приковано к входу в дом номер два по улице Грановского. На этом доме тускло-бежевого цвета, с закрашенными окнами укреплен мемориальная доска, гласящая о том, что в этом здании 19 апреля 1919 года Владимир Ильич Ленин выступал перед командирами Красной Армии, отправляющимися на фронты гражданской войны. Возле двери — еще одна дощечка, согласно которой этот дом — не что иное, как "Бюро пропусков". Но не для всех, как

Глава из книги "Русские". Приводится с некоторыми сокращениями. ©. 1978 Издание ST.I. Ltd. — Jerusalem, Published by agreement with Times Books, 3 Park Avenue, New York, N. Y. 10016.

сказали мне, а только для членов Центрального Комитета коммунистической партии и их семей. Иностранец, не искусенный во вкусах партийных деятелей, предпочитающих черные "Волги" всем другим машинам, и не знающий, что буквы "МОС" и "МОК" на номерах машин отличают только машины ЦК, не заметит здесь ничего особенного. Время от времени из "Бюро пропусков" выходят мужчины и женщины с объемистыми пакетами и свертками из стыдливо-простой коричневой бумаги, удобно усаживаются на задние сиденья ожидающих "Волг" и едут домой. А рядом — закрытый от глаз прохожих, охраняемый двор, где вызываемые через громкоговоритель шоферы принимают распоряжения по телефону о том, что следует доставить. У ворот — седовласый вахтер, отгоняющий чересчур любопытных прохожих, как это произошло и со мной, когда я остановился, чтобы полюбоваться на развалины церкви в глубине двора. Сюда люди, принадлежащие к советской элите, приезжают за покупками. Это — закрытый распределитель, на котором, разумеется, нет никакой вывески, чтобы не привлекать внимания прохожих, и куда не попасть без специального пропуска.

Для "сливок" советского общества — хозяев или, как непочтительно назвал их один журналист, "нашей коммунистической знати" — создана целая сеть таких магазинов.

Некоторые из этих закрытых магазинов обеспечивают советскую верхушку заграничными товарами, которых простой народ и в глаза не видит, причем по сниженным ценам и без налогов. Здесь — французский коньяк и шотландское виски, американские сигареты и импортный шоколад, итальянские галстуки и австрийские сапоги на меху, английские шерстяные ткани и французские духи, немецкие коротковолновые радиоприемники, японские магнитофоны, стереофонические проигрыватели.

Есть даже предприятия, снабжающие особо важных персон горячими обедами, приготовленными кремлевскими шеф-поварами. Продукты здесь настолько превосходят по качеству те, которые продаются в обычных государственных магазинах, что одна москвичка с большими связями расска-

зала мне, что она и ее друзья — постоянные покупатели диетического продовольственного магазина в районе старого Арбата, потому что туда передаются остатки из "Бюро пропусков" на улице Грановского.

Советская система привилегий имеет свои правила: блага распределяются в строгом соответствии с таблицей о рангах. На самом веру — главные руководители Политбюро коммунистической партии, члены всесильного Центрального Комитета партии, члены Совета Министров и небольшая исполнительная группа Верховного Совета СССР — члены Президиума. Эти бесплатно получают так называемый кремлевский паек — месячный запас продуктов, достаточный для обеспечения роскошного питания их семей (для сравнения стоит отметить, что рядовая городская семья из четырех человек тратит на питание 180—200 рублей в месяц, то есть добрую половину своих доходов). Самым ответственным руководителям продукты доставляют на дом, либо, как полагают, они пользуются распределителями, расположенными непосредственно в Кремле и здании ЦК. Заместители министров и члены Президиума Верховного Совета имеют специальный магазин, находящийся в неуклюжем громадном сером многоквартирном здании Дома Правительства, рядом с кинотеатром "Ударник" на Берсеневской набережной. Старым большевикам-пенсионерам, вступившим в партию до 1930 года, кремлевские пайки выдаются в трехэтажном здании в Комсомольском переулке. Величина и качество пайков тем ниже, чем ниже положение, занимаемое получателями.

По всей Москве разбросаны швейные ателье, парикмахерские, прачечные, химчистки, мастерские по изготовлению рам для картин и другие магазины розничной торговли — всего около сотни, включая продовольственные магазины, — тайно обслуживающие избранных клиентов. Об этом рассказал мне человек, имевший доступ в эту сеть. "Я не могла поверить своим глазам... Мне хотелось купить все", — поделилась со мной журналистка средних лет, которую всесильный приятель провел как-то в такой магазин. "Они живут уже при коммунизме", — добавил ее муж.

Для другого привилегированного слоя советского общества имеется восемь валютных магазинов "Березка", где русские, имеющие "сертификатные рубли", могут покупать импортные и дефицитные товары по сравнительно дешевым ценам. "Сертификатные рубли" — это особая валюта, подлежащая обмену на советские деньги и выдаваемая обычно людям, которым случается работать или бывать за границей, — дипломатам, журналистам, поэтам, пользующимся доверием властей, и т.п. Однако, по-видимому, ответственные работники с хорошими связями тоже получают часть своей зарплаты в сертификатных рублях; за каждый такой рубль на черном рынке платят по восемь обычных рублей.

Многих русских существование этих магазинов, которые практически представляют собой сектор, где советские деньги не принимают, приводит в бешенство. "Это так унижительно, так оскорбительно, что в нашей стране имеются магазины, в которых наши собственные деньги недействительны", — волновался какой-то служащий. Но там не принимают не только советские деньги; людей, не имеющих разрешения покупать в этих магазинах, не пропускают стоящие у дверей вахтеры, и это — большой вопрос для некоторых из моих русских друзей из интеллектуалов, потому что они видят в этом бесстыдное надругательство над провозглашенными идеалами социалистического равенства. Магазин на улице Грановского — лишь маленькая, выступающая над поверхностью вершина огромного айсберга привилегий, которые в основном нельзя купить за деньги*.

* По уровню зарплаты нельзя судить о привилегированности положения в Советском Союзе. Официальная зарплата Брежнева, как мне говорили, равна 900 рублям в месяц, однако он пользуется привилегиями, значительно увеличивающими его реальный доход, хотя их размеры не поддаются учету. Точно так же обстоит дело и со многими другими властью имущими. Однако, на первый взгляд кажется, что Брежнев обеспечен хуже, чем советские маршалы (максимальная зарплата которых составляет 2000 рублей в месяц), ведущие ученые и должностные лица, работающие в оборонной промышленности (их зарплата — также около 2000 рублей), или видные писатели, гонимые которых достигают иногда 150 тысяч рублей за книгу, особенно если

Нервный центр системы называется на советском жаргоне номенклатурой; номенклатура — это тайный список лиц, занимающих наиболее важные посты и отобранных партийными боссами. Номенклатура практически существует на всех уровнях советской жизни, начиная с деревни и кончая Кремлем.

Наверху номенклатура Политбюро — лица, занимающие свои посты по прямому назначению самих советских правителей, — министры, президент Академии Наук, редакторы "Правды" и "Известий", партийные руководители всех республик и областей, заместители министров ведущих министерств, послы в США и в некоторых других крупных странах, а также работники секретариата ЦК. Этот секретариат — учреждение более могущественное, чем администрация Белого Дома, — в свою очередь назначает людей на тысячи других важных должностей, правда, на более низком уровне, но все же очень важных. И так далее вниз — на уровне республик, областей, городов, районов, деревень, что позволило создать гигантскую систему контроля за раздачей должностей и привилегий. Именно эта система, действующая по типу Тэмени-Холл*, предусматривает и вознаграждение тщательно отобранной элиты через сеть магазинов и других предприятий обслуживания. Система эта распространилась по всей стране, и даже в областных центрах существует аналогичная сеть закрытых распределителей и других привилегий для местной верхушки, разумеется, в меньшем масштабе и на более скромном уровне. Номенклатура действует подобно самообновляющемуся братству, которое само обеспечивает отбор своих членов; это — закрытое акционерное общество. Рядовые члены партии не получают дивидендов, которые причитаются акционерному обществу; они достаются лишь тем, кто входит в партийное

по ней ставятся телевизионные передачи или кинофильмы. Власть имущие не только пользуются благами, которые нельзя купить за деньги; советские граждане рассказывают также о специальных денежных секретных пакетах, получаемых наиболее крупными партийными работниками, хотя эти суммы не поддаются сколько-нибудь надежно определению.

* Система подкупов в политической жизни США. (Прим. ред.)

руководство или занимает должности в партийном аппарате — а п п а р а т ч и к а м .

Партии принадлежит монополия на предоставление щедрых денежных премий, награждение орденами и должностями, дающими обеспеченную жизнь, так же, как партии принадлежит право решать, кому из писателей предоставить возможность выгодной публикации их произведений. Но партия и наказывает. Она может лишить официального признания, как это произошло несколько лет назад с Александром Солженицыным, которому не дали Ленинской премии; она может отнять привилегии у того, кто ей не угоден. Так, Мстислава Ростроповича, знаменитого виолончелиста, выступившего в защиту Солженицына, лишили права ездить за границу и даже выступать у себя на родине.

После революции Ленин приказал, чтобы талантливые специалисты получали более высокую оплату, чем рядовые трудящиеся, и чтобы ученым выдавали специальные продовольственные пайки, несмотря на то, что одной из целей коммунизма является равенство всех людей. Джон Рид, американский коммунист, автор книги "Десять дней, которые потрясли мир", пишет о том чувстве неловкости, которое он испытал, видя, как советские руководители присваивают себе привилегии. Однако в полной мере систему привилегий развил Сталин, защищавший ее прямо с точки зрения капиталистической логики, на основе того, что некоторые люди, некоторые группы, особо ценные для государства, заслуживают особой оплаты и наград. Теперь целый отдел ЦК партии с безобидным названием "Управление делами", имеющий секретный бюджет, занимается организацией обширной сети наиболее комфортабельных жилых многоквартирных домов, загородных дач, правительственных пансионатов, специальных домов отдыха, целых парков автомашин и бригад слуг, отобранных органами безопасности для правящей элиты. Один московский журналист объяснил мне, что эти слуги должны подписать обязательство о неразглашении подробностей частной жизни элиты. За свое молчание они получают прекрасное вознаграждение, тоже пользуясь специальными магазинами и дачными комплексами.

Среди всех символов высокого положения и привилегий больше всего заметны лимузины с личным шофером, за серыми занавесками которых скрывается от любопытных глаз начальство. Они мчатся по середине улиц, а милиционеры неистово отмахивают водителям других машин, чтобы держались поближе к тротуару.

На углу улицы Грановского, по пути следования Леонида Брежнева домой из Кремля, громкий звонок предупреждает ОРУДовца о том, что следует задержать остальные машины, что очередная важная шишка выезжает из Кремля, направляясь к зеленой полосе загородных вилл, принадлежащих сильным мира сего. Распоряжения передаются по радио и на другие милицейские посты вдоль пути следования начальства. Сливкам этой элиты (всего около двадцати человек) — членам Политбюро и секретарям ЦК партии союзных республик — предоставляются черные лимузины "ЗИЛ". Это — машины несерийного производства стоимостью примерно по 75 тыс. долларов (97,5 тыс. рублей) каждая. Я как-то заглянул было в один такой автомобиль, но тут же подошедший работник службы безопасности велел мне удалиться. Машина эта напоминает удлинённый "Линкольн Континенталь" с шикарной внутренней отделкой — мягкими виниловыми сиденьями с подлокотниками, ковровой обивкой, с кондиционером, радио, телефоном и другими приспособлениями. Один инженер, большой любитель изучать атрибуты власти, рассказал мне, как об общеизвестном факте, что Сталин, выезжая куда-нибудь, использовал обычно колонну из шести автомобилей — пяти "ЗИЛов" и одного старого роскошного "Паккарда", — каждый раз садясь в другую машину, чтобы никто не знал, в какой машине он находится. Хрущев сократил число этих машин до четырех. А после выстрела одного армейского офицера у Боровицких ворот Кремля по машине Брежнева (22 января 1969 г.), и Брежнев стал ездить в колонне из четырех машин.

Стоящие на второй от вершины власти ступеньке уже не достойны "ЗИЛа"; для них самой престижной машиной

является "Чайка" — громоздкий, напоминающий беременные паккарды 50-х годов, автомобиль. "Чайки" настолько известны тем, что всегда несутся по специально отведенной для них центральной полосе главных улиц, предназначенной для машин важного начальства, что эти полосы люди так и называют "дорожкой Чайки". Эти машины полагаются министрам, адмиралам, маршалам, важным иностранным визитерам и делегациям. Некоторые западные посольства и учреждения купили такой автомобиль стоимостью 10 тысяч рублей. Рядовые люди иногда нанимают их по случаю свадьбы.

Обычно советская политическая верхушка предпочитает в уединении наслаждаться благами жизни и предаваться радостям потребления незаметно, скрываясь от собственного народа. Меня несколько удивил помпезный прием, устроенный в 1974 г. в честь президента Никсона в холодном великолепии Георгиевского зала Кремля.

Я находился всего в нескольких шагах от советских лидеров в тот момент, когда они вошли в зал и, выстроившись в ряд, замерли на время исполнения национальных гимнов США и СССР. Там были Никсон в синем саржевом костюме, Леонид Брежнев с поджатыми губами, щеголявший широким, по западной моде, винно-красным галстуком, президент Николай Подгорный с носом пуговкой и, наконец, премьер-министр Алексей Косыгин, поглядывавший во все стороны с выражением скуки на лице, подобно мальчику, нетерпеливо ожидающему конца официальной церемонии. Банкетные столы, расставленные по обеим сторонам зала и казавшиеся бесконечными, ломились от яств. Здесь было несколько сортов икры, копченая семга, жареные молочные поросята. Под большими хрустальными люстрами неслышно двигались официанты в белых форменных смокингах, подавая горячие закуски, а оркестр на балконе играл песенки южных берегов Тихого океана для сотен избранных гостей. Американские репортеры писали, конечно, о царском гостеприимстве советского руководства, советская же пресса хранила скромное молчание, а русским

телезрителям и краешком глаза не удалось взглянуть на все это великолепие.

Кремль производит грандиозное впечатление, но в Москве нет официальной резиденции, подобной Белому Дому. Советские лидеры больше заботятся о благоустройстве своих загородных дач, чем городских квартир. Брежнев занимает один этаж в выходящем во двор крыле старого громоздкого девятиэтажного многоквартирного дома номер 26 по Кутузовскому проспекту.

Этажом выше живет шеф тайной полиции Юрий Андропов, а этажом ниже — министр внутренних дел Николай Щелоков. Расположению городской квартиры Косыгина можно позавидовать — он живет в многоквартирном доме, построенном высоко на Ленинских горах, откуда открывается прекрасный вид на центр Москвы по другую сторону реки. Подгорный, как мне рассказывали, живет на улице Алексея Толстого в высоком желтом каменном доме, который отлично содержится.

Я часто слышал разговоры о кремлевской поликлинике, но прежде мне не доводилось взглянуть на нее. На самом деле это — не одна поликлиника, это — целая система поликлиник и больниц, широко известных под названием "Кремлевка". Самая приметная из них расположена против главного входа в библиотеку им.Ленина, на углу того дома по улице Грановского, где помещается и закрытый магазин. Здесь тоже нет никакой вывески, если не считать барельефа с изображением серпа и молота возле двери. Но мне пришлось однажды видеть "ЗИЛы" членов Политбюро, стоящие перед этим зданием, и собравшихся кучкой на тротуаре агентов КГБ, коротающих время за болтовней, и шоферов, протирающих тряпкой запачканное крыло машины. Но мои русские друзья сочли маловероятным, чтобы Брежнев или другие деятели на самом деле приезжали сюда лечиться, потому что, как сказал один журналист, "когда они заболевают, доктора ездят к ним".

Самые крупные персоны предпочитают лечиться в уединенных местах, например, в больнице в Кунцево, где нахо-

дятся и дачи советской элиты. В этой больнице такие восточноевропейские лидеры, как Вальтер Ульбрихт или Эрик Хоннекер из ГДР, пользуются особым медицинским обслуживанием.

По советским стандартам эта больница настолько роскошна, что редактор либерального журнала Александр Твардовский, как-то попавший туда на лечение, саркастически заметил своим друзьям, что это — "коммунизм на 80 копеек".

Сталин лечился в еще более привилегированной больнице в Филях, расположенной в густом сосновом бору на Минском шоссе.

Однако самые большие привилегии ожидают сильных мира сего за пределами столицы. Советские лидеры и их семьи располагают целыми дачными комплексами, расположенными в уединенных местах; правда, ни один из них не может соперничать с роскошными резиденциями Никсона в Палм Бич и Калифорнии, но тем не менее эти дачи позволяют Брежневу наслаждаться мягким климатом Крыма или Пицунды на берегу Черного моря, живительным воздухом Центральной России, где в охотничьих поместьях, в районе Завидова, советские лидеры, как в далекие времена немецкие бароны, приятно проводят время и развлекают зарубежных гостей (вроде Генри Киссинджера) охотой на кабанов; умиротворяться тишиной уединенного сосняка в окрестностях Минска, где Брежнев принимал, например, французского гостя Жоржа Помпиду, или развлекаться в современных финских домиках в государственном пансионате близ Ленинграда.

Однажды я случайно встретился в поезде с дочерью Косыгина Людмилой Гвишиани, женщиной средних лет, и ее семьей; они ехали в какой-то правительственный дом отдыха в Латвии. Мы (Майк Мак-Гуайр из газеты "Чикаго Трибюн" и я) разговорились с ее мужем Джерменом Гвишиани, известным специалистом по вопросам торговли между Востоком и Западом, с которым мне уже как-то пришлось встретиться на одной пресс-конференции. Мы непринужденно беседовали о торговле и советских курортах. Гвишиани, красивый,

с иголочки одетый грузин, любитель хорошо скроенных костюмов и галстуков от Диора, вполне мог сойти, да и сходил за крупного западного чиновника. Он доверительно сообщил мне, что его семья предпочитает пляжи и прохладную воду Балтийского побережья, так как сочинская жара плохо сказывается на его больной спине.

Во время нашей беседы, в нарушение существующих в Советском Союзе правил, семье принесли в купе обед из ресторана, который находился в шестом по счету вагоне от нашего. Мы скромно удалились, но едва вернулись в свое купе, выяснилось, что в качестве предполагаемых знакомых семейства Гвишиани и нам можно воспользоваться этой привилегией — заказать обед в купе; это, как нам любезно объяснили, входит в число услуг, предоставляемых Латвийской железной дорогой. Но когда на обратном пути мы попытались этой услугой воспользоваться, удивленная молодая проводница тут же нам отказала, объяснив, что *"это никогда не делается"*.

В Риге наши пути с семейством Гвишиани, естественно, разошлись. Мы оказались в беспорядочной привокзальной толпе, ожидавшей такси, и, в конце концов, потеряв всякую надежду, махнули рукой и отправились в гостиницу пешком. Гвишиани встречало пять человек: две женщины с букетами цветов и трое важных мужчин в темных костюмах, взявших на себя заботу о их багаже и безопасности (кстати, в поезде охрана казалась на удивление слабой). Гвишиани умчались в большой "Чайке" в дом отдыха Советских Министров, расположенный в уединенном месте в 32 километрах от кишаших людьми пляжей Рижского взморья.

Мадам Гвишиани рассказала мне в поезде, что место это настолько уединенное, "что вы можете пройти сотни метров, общаясь с одной лишь природой."

В таких местах, как Крым и Кавказское побережье Черного моря, дачи некоторых членов Политбюро, особенно большой дом, построенный бывшим партийным боссом Украины Петром Шелестом, настолько роскошны, что это даже вызвало недовольство партийных чиновников более пури-

танского толка. Поскольку Крым входит в состав Украины, Шелест мог распоряжаться рабочей силой и строительными материалами, как душе угодно.

Другие украинские лидеры тоже построили себе дачи на морском берегу. Однако один ученый, хорошо знакомый с этими местами, рассказал мне, что, подобно завоевателю из фильма о жизни в Южной Калифорнии, Шелест отхватил по соседству с роскошным Никитским ботаническим садом, вблизи Ялты, участок побережья около километра длиной, на котором он приказал украинским строителям возвести для себя просторный четырехэтажный дворец. Для его пляжа был специально привезен на грузовиках песок, доставлена обстановка, самое разнообразное оборудование и украшения для дома. Вдоль набережной была сооружена стена; среди тропической зелени в море сбегали волноломы; работники службы безопасности останавливали пловцов и гуляющих, не позволяя им приближаться к запретной зоне. Все это ученый увидел, бродя в этих местах во время своих посещений Ботанического сада.

Что бы там ни думали советские руководители о шелестовской роскоши, его лишили этой дачи только после того, как он был исключен из Политбюро и снят с поста, занимаемого на Украине. В этом отношении партийный "протокол" обычно беспощаден: лишился занимаемого поста — лишился и государственной дачи; правда, нет сомнения в том, что после этого Шелест в качестве замминистра тоже получил дачу, хотя и более скромную. Однако система функционирует и в противоположном направлении. В июне 1974 г., когда шли переговоры Брежнева с Никсоном, министр иностранных дел СССР Андрей Громыко смог похвастаться перед государственным секретарем США Генри Киссинджером, во время морской прогулки вдоль Крымского берега, своей новой "политбюровской" дачей в Ореанде. За 16 лет пребывания на посту министра иностранных дел он так и не получил дачи, которая полагается лицам, занимающим самые высокие посты, пока не стал членом Политбюро в апреле 1973 года!

Старый прославленный мастер партийной интриги армянин Анастас Микоян, продержавшийся, как говорят советские люди, "от Ильича до Ильича", т.е. от Ленина до Брежнева, и переживший и Сталина, и Хрущева, являет собой наиболее разительный пример нарушения правил распределения привилегий. Уволенный в 1965г. в отставку наследниками Хрущева как его близкий друг, Микоян умудрился тем не менее сохранить за собой не только свою большую виллу вблизи Гагры на Черном море, где у него, как рассказывают, два плавательных бассейна, облицованных мрамором (один для пресной, другой для морской воды), но и огромный дом в Подмоскovie — поистине княжеское имение, полное слуг, окруженное даже крепостным рвом, правда, не заполненным водой. Кстати, это поместье до революции принадлежало чрезвычайно богатому кавказскому купцу.

Москвичи видят во все этом образе жизни такое издевательство над пропагандируемыми марксистскими идеалами, что они высмеяли его в одном анекдоте о Брежневе. Этот анекдот возник в бытность мою в Москве, когда еще была жива мать Брежнева. В нем рассказывалось, что сын, желая похвастаться тем, как он преуспел в жизни, пригласил мать из Днепропетровска (на Украине) и показал свою просторную городскую квартиру, но старая женщина казалась растерянной и даже несколько испуганной. Тогда Брежнев позвонил по телефону в Кремль, вызвал свой "ЗИЛ", и они покатали на усовскую дачу, которой прежде пользовались Сталин и Хрущев. Сын водил ее повсюду — показывал каждую комнату, огромный прекрасный участок, а она по-прежнему молчала. Тогда он вызвал свой личный вертолет и доставил ее в свой охотничий домик в Завидово. Там он привел ее в банкетный зал, с гордостью продемонстрировал свой большой камин, свои ружья, показал все, вплоть до последней мелочи, и не в силах далее сдерживаться, спросил умоляюще: "Скажите, мамаша, что Вы об этом думаете?" "Ну, — сказала она, поколебавшись, — все это хорошо, Леня. А что, как красные вернутся?"

Среди мягких холмов к западу и юго-западу от Москвы расположилось несколько крупных дачных комплексов. Самым широко известным из них за границей является, пожалуй, писательский поселок в Переделкино, где жил и работал Борис Пастернак и популярный детский писатель Корней Чуковский; где "Правда" имеет целую сеть дач для своих ведущих редакторов; где у Виктора Луи, которого на Западе считают агентом советской разведки по особым поручениям, большой, внушительный двухэтажный дом с огромным камином, в котором может поместиться целое бревно, сауной, со стенами, увешанными иконами, с теннисным кортом, превращаемым на зиму в каток; где Андрею Вознесенскому и Евгению Евтушенко Союз писателей предоставил каркасные дома и где стоит маленькая православная церковь, такая же красочная и самобытная и неправдоподобно прекрасная, как собор Василия Блаженного на Красной площади.

На Николиной горе, километрах в двадцати пяти от Кремля, в чудесном лесу стоят дачи академиков, журналистов, писателей и крупных ответственных работников, например, председателя Госплана Николая Байбакова. На крутом берегу, с которого виден пляж для дипломатов, расположены дома таких людей, как всемирно известный физик Петр Капица и детский писатель Сергей Михалков. Все эти поселки находятся в нескольких километрах один от другого, совсем рядом с Жуковкой, о которой Светлана Аллилуева упоминает как о своем последнем доме в Советском Союзе.

Жуковка настолько неимпозантна, что неискушенные иностранцы проезжают мимо, не задерживаясь, не замечая ничего, кроме некоторого числа типично русских деревенских бревенчатых изб с уборными в огородах. Единственной приметой, достойной внимания, является низкий, но необычно большой деревенский торговый комплекс, построенный из бетонных блоков, а рядом с ним — открытая стоянка для машин. Иностранцев дипломатов и журналистов, которые пытались там остановиться и что-нибудь купить, реши-

тельно и быстро прогоняли неизвестно откуда взявшиеся милиционеры в формах.

Одной из причин обезоруживающе буколического вида Жуковки, производящей впечатление рядового колхоза, является то, что на самом деле она представляет собой не один, а целых три поселка. Проезжающий автомобилист или пеший турист мельком увидит то, что называется "деревней Жуковкой", находящейся по правую сторону, в густом лесу; за веткой железной дороги, ведущей в столицу, прячутся еще два поселка с безликими названиями "Жуковка 1" и "Жуковка 2". Однако местные жители называют "Жуковку 1" "Совмин" (Совет Министров), а "Жуковка 2" известна как "Академическая Жуковка". Поселок "Совмин" — для членов Совета Министров и первых заместителей министров — окружен кирпичной с чугунными решетками стеной. Вход — только по специальным пропускам, и иерархия соблюдается строго. "Совмин", что, впрочем, не удивительно, постепенно разрастался и теперь представляет собой два поселка, один из которых (тот, что поближе к дороге) предназначается для менее высокопоставленных, но все же очень крупных деятелей, а другой — в более уединенном месте, в стороне от железнодорожных путей, — для самой верхушки.

Иногда, в виде исключения, деятелям, занимавшим чрезвычайно высокое положение ранее, оставляют их дачи, даже лишив их прежних постов. Непреклонный Вячеслав Молотов, в прошлом министр иностранных дел и приспешник Сталина, ныне седовласый старик не у дел, до сих пор занимает дачу в "Совмине", как и внук Сталина, сын Аллилуевой, Иосиф, ставший врачом.

"Академическая Жуковка" — поселок более вольный, и правила там менее строгие. Он появился в первые послевоенные годы, когда Сталин награждал создателей атомной и водородной бомб и первого циклотрона двухэтажными загородными домами поблизости от территории "Совмина". В период Хрущева к ним присоединились дачи ученых "космической эры". Теперь поселок насчитывает около полуто-

раста дач. Здесь находятся летние резиденции таких крупнейших ученых, как Юлий Харитон и Андрей Сахаров, создавших атомную и водородную бомбы. В последние годы некоторые деятели культуры, пользующиеся большой известностью и получающие немалые деньги, купили дачи в "Академической Жуковке" у вдов ученых, которым эти дачи были подарены государством. Именно таким образом приобрели здесь дачи композитор Дмитрий Шостакович и виолончелист Мстислав Ростропович. Некоторое время в домике садовника на даче у Ростроповича жил Солженицын. В самой же исконной деревне Жуковка в последние годы среди маленьких бревенчатых изб и уютных, старых, обшитых некрашеными досками домов тоже появились новые дачи — старомодная дача генерала КГБ, отдел которого занимается инакомыслящими интеллектуалами; тут же напротив — дача генерала пограничных войск КГБ, который среди более простых строений, сдаваемых жителями деревни на лето государственным служащим, писателям, журналистам, артистам и другим состоятельным людям, построил себе современный дом, облицованный импортной желтой плиткой.

С задней стороны "Академическая Жуковка" примыкает к огромному поместью Анастаса Микояна и санаторию ЦК, расположенному на дороге к деревне Подушкино. В двух или трех километрах оттуда, в направлении Москвы, за Барвихой, живет Михаил Суслов, главный теоретик партии, который, по общему мнению, назначает и смещает правителей и который сколотил коалицию, сбросившую Хрущева. В противоположном направлении, через две деревни, напротив поселка Усово, расположились самые роскошные уединенные дачи — резиденции Брежнева, Косыгина, Кирилла Мазурова, первого заместителя Косыгина, и министра иностранных дел Громыко, переехавшего из своей министерской дачи (во Внуково) в "Брежневское окружение" после того, как был введен в состав Политбюро.

Любой человек, которому довелось провести в Жуковке хоть один летний день, поймет, почему так тянет сюда власть имущих. Это тихое пленительное место отличается чисто

русской прелестью. Деревня расположена на крутом берегу, с которого открывается вид на медленно текущую Москву-реку и на мягкие очертания среднерусской равнины. Прогулка по сосновому бору местами не очень легка — земля, изрытая в годы войны траншеями, бугристая.

"Это — следы войны", — объяснил мне писатель Лев Копелев, громадного роста и крепкого сложения человек с окладистой бородой, сидевший вместе с Солженицыным в лагерьях, который любит гулять по окрестностям, опираясь на тяжелую палку, срезанную в лесу. "Эти траншеи были вырыты, чтобы защищать Москву, но немцы пошли другой дорогой. Здесь боев не было".

Это чудесное, тихое место, как будто неподвластное времени, отделяет от Москвы менее 32 километров. И... целая эпоха. Сядьте в час заката на высоком речном берегу, и вы увидите простершуюся перед вами на многие километры Россию — беспредельную, неизменную на протяжении столетий. Вы увидите беспорядочно чередующиеся луга, кустарники и мелколесье, которых не касалась рука человека. В этот час небо окрашивается в мягкие тона, непохожие на ярко-оранжевые или пурпурные закаты.

"Там вот, — говорит Лев и показывает на какое-то место километрах в пяти к западу, — дача Брежнева. Видите водонапорную башню? Это — для брежневской дачи. И косыгинской, и мазуровской. Самих дач не разглядеть, но они именно там, внизу. Дачу Брежнева люди называют "Дача номер 1". Когда в этих местах жил Сталин, ее называли "Дальняя дача", когда Никсон приезжал сюда в 1959 году, она находилась в распоряжении Хрущева. Увидеть ее можно со стороны реки, или, вернее, можно было увидеть. Мы видели ее в хрущевские времена. Мы как раз были там, на реке, когда Хрущев устроил для Никсона речную прогулку на своем катере. Это и вправду великолепный дом с прекрасным участком и красивым крутым берегом, с мраморной лестницей, ведущей к воде, но теперь на этом участке реки запрещено бывать даже нам, русским".

На обратном пути в деревню, когда мы шли по вьющейся

между дачами узенькой тропинке, не шире кроличьей тропы, Лев затеял разговор о привычке советской элиты селиться рядом друг с другом. "Знаете, — задумчиво говорил он, — если бы вам довелось постоять утром возле хрущевского магазина осенью 1972 или весной 1974 года, вы бы увидели всех и вся. Около девяти часов проходил Сахаров с женой, они шли к реке купаться, затем Брежнев, Косыгин и Мазуров спешили в Кремль в своих "ЗИЛах"; в хорошую погоду все они живут на своих дачах. Около десяти появлялся Солженицын — купить молока для своих мальчиков. Он жил тогда в домике садовника у Ростроповича в "Академической Жуковке". Можно было увидеть даже Молотова, приходившего пешком за покупками из "Совмина". Однажды Солженицын встретил Молотова и захотел, как впоследствии рассказывал, подойти к этому старому человеку со словами: "Давайте поговорим, Вячеслав Михайлович", пытаясь представить себе, что сказал бы Молотов. Солженицын был уверен, что Молотов стал бы разговаривать тем же деревянным языком, на котором говорил всю жизнь. "Потому что он верил в это?" "Нет, — ответил Солженицын. — Он не верил в это. Просто по привычке".

Однажды я услышал рассказ о том, как летом 1972 года какая-то женщина, увидев Молотова в очереди за помидорами в хрущевском магазине, воскликнула: "Не хочу стоять в очереди вместе с палачом". Как рассказывают, не сказав ни слова, Молотов вышел из очереди и удалился.

Лев рассказывал о магазине как о каком-то перекрестке, где все встречаются: "После Солженицына и Молотова пришел бы внук Сталина, сын Светланы — Иосиф; потом Харитон — один из главных создателей советской атомной бомбы; потом Ростропович и Шостакович из "Академической Жуковки". Ростропович всегда приходил поздно — артист. Затем мимо магазина проносились машины Петра Капицы и Сергея Михалкова. Они ехали с Николиной горы. Мог проследовать и Микоян из своей дачи близ Барвихи. На протяжении двадцати лет он катался в этих местах верхом, но теперь перестал. И так все знаменитости в области науки, культуры и

политики проходят и проезжают мимо этого маленького деревенского магазина".

Но советская элита, совместно развлекающаяся в уединенных дачных поселках в окрестностях Москвы и в других привилегированных "городках", разбросанных по всей стране, присвоила себе не только такие преимущества, как возможность лучше питаться, одеваться, жить в лучших квартирах, пользоваться лучшим медицинским обслуживанием, чем все остальное население. Она просто-напросто живет на другом уровне, чем остальная часть общества.

"Администраторы хорошо знают, что в каждом поезде, в каждом самолете Аэрофлота, в каждой гостинице, на каждое представление они обязаны оставлять определенное количество мест для властей, — сообщил мне по секрету гид Интуриста. — Это происходит повсюду, по всей стране, а не только в Москве. В других городах оставляют места для ответственных работников из Москвы, для работников обкома партии, для работников горкома партии — на всякий случай, а вдруг они их закажут. Для них оставляют места в гостиницах (вдруг они придут), а людям говорят, что свободных номеров нет. То же с местами на самолет. Потом, если окажется, что забронированные билеты не нужны, их пускают в продажу за полчаса до вылета самолета или до начала театрального представления. Такая практика — повсеместна. Для властей оставляют места просто на всякий случай. А может случиться и такое. Какой-нибудь бедолага купил себе билет на самолет и уже собрался в дорогу. Тут на его пути появляются они; тогда ему говорят: "Вы не полетите. Нам нужно ваше место. А вы подождете до следующего рейса". Так вот и отнимает у человека его билет какой-нибудь партийный начальник, заставляя неудачника ждать в аэропорту, может быть, пять или шесть часов, а то и больше. Вот как это происходит. И ничего тут не поделаешь".

В распоряжении представителей политической и культурной элиты — множество клубов и специальных закрытых ресторанов, где они могут приятно провести время и поесть, не выстаивая, подобно простым смертным, в длинных очере-

дях на улице и не терпя дурного обслуживания, столь характерного для страшно переполненных московских ресторанов. Самые высокопоставленные ответственные работники ужинают в таких местах, как пансионаты ЦК и Совета Министров близ Химкинского водохранилища. Для менее могущественных, но все же достаточно крупных деятелей имеются рестораны при профессиональных клубах, например в Союзе писателей, Союзе архитекторов, Доме офицеров вооруженных сил, Доме журналиста, где подают икру, бифштексы, водку лучших сортов (обычно идущую только на экспорт), а обслуживание — вежливое и быстрое.

Что касается поездок или театральных постановок, то не только Брежневу, Косыгину и Подгорному гарантированы быстрое обслуживание и бывшая царская ложа — большая часть политической верхушки, а за ними и представители научной, культурной и экономической элиты тоже получают свою долю. Так, ЦК партии, Совет Министров и другие важные организации имеют специальные билетные кассы, где для сильных мира сего их секретари бронируют билеты на все виды транспорта, на значительные спектакли, концерты, спортивные соревнования, на которые всегда не хватает билетов, так что обычно рядовые граждане простаивают за ними целые ночи в очередях. В сентябре 1972 года перед хоккейным матчем СССР — Канада, вызвавшим огромный интерес, один мой друг, канадский дипломат, находился в главной билетной кассе стадиона в Лужниках, когда туда вошел преуспевающего вида молодой человек с плоским чемоданчиком. Положив чемоданчик на стол, молодой человек отрекомендовался работником ЦК и сказал, что пришел за билетами. Кассиры, оставив все другие дела, бросились его обслуживать. У дипломата глаза на лоб полезли, когда он увидел, что молодому человеку было выдано по три тысячи билетов на каждый из четырех матчей. Это составляло больше четверти всех мест, то есть каждый второй работник ЦК мог увидеть все соревнования, тогда как для остального населения восьмимиллионного города оставалось менее одного шанса из тысячи попасть хоть на одну игру.

Для некоторых представителей элиты одинаково важно как само интересное зрелище, так и демонстрация своего исключительного права наслаждаться вещами, как правило, недоступными простым смертным, например, произведениями Эрнста Неизвестного, одного из самых независимых советских скульпторов и художников. Эрнст Неизвестный, произведения которого были в свое время осуждены Хрущевым (впоследствии восхищавшимся художником) и который заработал много денег на надгробных памятниках известным деятелям, находился тем не менее в постоянном конфликте с властями, потому что работы, выполненные в его излюбленной манере, слишком сложны, символичны и пессимистичны для социалистического реализма.

У рядовых советских граждан нет ни малейшей возможности познакомиться с искусством Неизвестного, но мой знакомый, вполне достойный доверия, рассказал мне, что у одного из личных секретарей Брежнева — Евгения Самотейкина — дома имеется модернистская графика Неизвестного. Один американец, побывавший у нескольких высокопоставленных работников Внешторга, говорил мне, что видел у них дома не только работы Неизвестного и других советских художников-модернистов, выполненные в недозволенной манере, но и произведения абстрактного искусства, явно привезенные из зарубежных поездок. А вот нечто еще более удивительное: я знаю известных советских писателей, у которых почти открыто на книжных полках стоят произведения Солженицына и другая литературная "контрабанда", за хранение которой диссидентов сажали в тюрьму. Дело в том, что занимаемое этими писателями официальное положение служило им надежной защитой.

Пожалуй, наиболее поразительным проявлением этих различий в образе жизни элиты и рядовых советских людей является признанный за привилегированным классом доступ ко всему иностранному: журналам, книгам, фильмам, машинам, путешествиям за границу. Привилегированным, как мне говорили, можно видеть такие фильмы, как "Взрыв", "Снисходительный всадник", "Полуночный ковбой", "Бонни и

Клайд", "Конформист" или "Восемь с половиной", запрещенные цензорами для показа рядовому советскому зрителю. Эти запрещенные фильмы демонстрируются на закрытых просмотрах на студии "Мосфильм", в профессиональных клубах или в Доме кино (клубе кинематографистов). Возможность посещения этих просмотров считается среди интеллектуалов чрезвычайно ценным признаком высокого общественного положения.

На дачах представителей самой верхушки государственной элиты установлены кинопроекторы, и там, наряду с советскими, регулярно показываются западные фильмы. Иногда к иностранным труппам обращаются с просьбой показать их наиболее смелые и яркие номера в узком кругу, для представителей советского искусства и работников Министерства культуры, хотя это же министерство запрещает показывать эти номера широкой публике из-за их тлетворной буржуазной формы.

Я познакомился с одним балетоманом, попавшим на закрытое и чрезвычайно сексуальное, как он считал, представление французского танцевального ансамбля; балетоман вернулся домой с вытаращенными глазами, совершенно выбитый из колеи тем, что вкусил от запретного западного плода. Других приводили в восторг закрытые просмотры кинофильмов. "Вы не можете себе представить то удовольствие, которое испытываешь, когда смотришь такой фильм, как "Восемь с половиной", то ощущение, что вкушаешь от запретного плода и принадлежишь к избранному кругу", — сказала мне рыжеволосая женщина-редактор. Ее семья принадлежала к высшей интеллигенции, но не занимала достаточно высокого положения для того, чтобы иметь доступ так часто, как ей бы этого хотелось, к произведениям западного искусства. "Вы у себя в Риме или Нью-Йорке можете купить билет и посмотреть любой фильм, какой только пожелаете. Здесь же — это действительно большое дело, когда имеешь такую возможность". И тут, как в случае с балетоманом, было ясно, что возбуждение, вызванное возможностью увидеть то, что для Других табу, не уступало удовольствию, полученному от самого фильма.

В материальном выражении символом самого высокого общественного положения, заимствованным советской элитой на Западе, является обладание роскошными дорогими западными автомобилями. Ввел их в моду (с началом детанта) Брежнев. Известно, что у него самого немало машин западных моделей ("Роллс-Ройс", "Силвер-Клауд", "Ситроен-Мазерати", "Линкольн", "Мерседес" и "Кадиллак"), подаренных ему иностранными государственными деятелями, которые знают о его пристрастии к роскошным автомобилям для официальных выездов. Не менее широко известно, что и другие высокопоставленные советские деятели увлекаются западными машинами: у председателя Верховного Совета СССР Подгорного — "Мерседес 600", у "владыки" советского Госплана Николая Байбакова — "Шевроле-Импала", прима-балерина Большого театра Майя Плисецкая предпочла "Карман-Гия 1500", а такие танцоры, как Владимир Васильев и Мариус Лиэпа обзавелись "Ситроенами", "Фольксвагенами-стейшн"; бывший чемпион мира по шахматам Борис Спасский приобрел седан "Бритиш Ровер", Виктор Луи — журналист, явшающийся с КГБ, является обладателем "Порше", "Ленд-Ровера" и "Мерседес 220", кстати, это — любимая (среди прочих) марка композитора Арама Хачатуряна. Этот список с каждым годом растет, потому что журналисты и дипломаты, возвращающиеся на родину после длительного пребывания за границей, высокооплачиваемые деятели культуры, прибывающие с гастролей, помешаны на западных автомобилях.

Для всех этих людей важнейшей целью поездки на Запад, *sine qua non*, является, в первую очередь, удовлетворение своей жадности приобретательства. "При советской системе деньги — ничто, — жаловался высокооплачиваемый писатель, ни разу не получивший разрешения выехать на Запад. — Нужно иметь возможность их тратить. Член ЦК получает не больше денег, но он бесплатно приобретает любые вещи. Он может обучать своих детей в университетах или лучших институтах или посылать их за границу. — Он помолчал и саркастически добавил. — Все они посылают теперь своих детей за границу;

они их экспортируют, как диссидентов". И, подобно десятилетнему американскому мальчишке, любителю бейсбола, знающему наизусть средние показатели известных игроков, он раздраженно отбарабанил имена, неизгладимо запечатлевшиеся в его памяти, — так велика была его досада на то, что они могут ехать, а он — нет: сын Брежнева Юрий вот уже десять лет как находится в Швеции в качестве торгового представителя, не говоря уже о других поездках; дочь Косыгина Людмила часто сопровождает за границу отца и мужа Джермена Гвишиани — торгового эксперта; сын Громыко Анатолий, раньше работавший в Лондоне, теперь — ответственный чиновник в советском посольстве в Вашингтоне, а Игорь Андропов, сын начальника тайной полиции Юрия Андропова, без конца ездит на Запад и даже исследование для своей дипломной работы об американском рабочем движении проводил в США; Михаил Мазуров, сын первого заместителя председателя Совета Министров Кирилла Мазурова, зоолог, провел пару лет в Кении и много путешествовал за границей; один из сыновей бывшего руководителя украинской компартии Петра Шелеста, специалист по биологии моря, ездил в научную экспедицию во Флориду во времена, когда отец находился на вершине политической карьеры.

Для многих система прямых привилегий подкрепляется сетью неофициальных связей, позволяющих генералу позвонить знакомому ученому и попросить его устроить сына в институт, или ученому получить за это для своего сына отсрочку от призыва в армию, или киносценаристу, написавшему хороший сценарий шпионского фильма, позвонить в КГБ и получить для жены разрешение поехать за границу. Блат — это постоянно действующий, жизненно важный и всепроникающий фактор русской действительности. "У нас кастовая система, — сказал мне один старший научный сотрудник. — В семьях военных браки заключаются в своей среде".

Точно так же обстоит дело в семьях ученых, партийных деятелей, писателей, семьях, принадлежащих к театральным кругам. Сыновья и мужья дочерей рассчитывают на то, что папаша или тесть помогут им с помощью блата продви-

нуться по службе, а отцы считают, что это — их обязанность. Другие же делают, и я сделал это для моего сына. Почему бы и нет?"

Некоторые университеты и институты в СССР известны как вотчина детей партийной, правительственной и военной элиты. К числу таких заведений относятся факультет журналистики и юридический факультет Московского государственного университета, считающиеся "политическими", а также Московский институт иностранных языков и Московский институт международных отношений (МИМО), так как они открывают путь к поездкам за границу и к службе за рубежом. Известно, что в эти учебные заведения устраивают своих сыновей и дочерей, внуков и внучек высокопоставленные деятели партии и правительства, нередко пользуясь блатом для того, чтобы превратить непроходной балл, полученный на вступительных экзаменах, в пятерки.

"Чтобы попасть в МИМО, нужно иметь очень хорошие партийные и комсомольские рекомендации", — сказал мне один обладатель диплома этого института и назвал десятка два сыновей и дочерей деятелей партии и правительства, поступивших в это учебное заведение благодаря связям отцов. Сам он был из семьи партийного работника. Он рассказал мне, каким духом кастовости проникнуто это студенчество. Лишь немногим "обыкновенным" молодым людям удалось попасть в МИМО — ведь хотя это и не секретное учреждение, институт даже не фигурирует в перечне советских высших учебных заведений, издаваемом для будущих абитуриентов. Мой знакомый рассказал мне, что знал одного преподавателя МИМО, члена партии, который был уволен за то, что отказывался выполнять распоряжения декана и незаслуженно ставить высокие оценки детям из семей элиты, насмешливо называемым некоторыми русскими "советские детки". По его словам, когда он учился в этом институте, там было несколько очень плохо занимавшихся студентов из высокопоставленных семей, но благодаря связям родителей деток не исключали из института. Мой собеседник вспоминал, что самым отъявленным балбесом был сын министра внутренних дел

Игорь Щелоков, который прославился тем, что устраивал вечеринки и выпивки на отцовской даче, приезжал в институт на "Мерседесе", подаренном отцом, и без всякого стеснения пребывал в уверенности, что, независимо от знаний, получит нужные оценки. Он нахватал по английскому языку столько доек, что по всем существующим в институте правилам его следовало бы исключить, но вместо этого на пятом курсе он получил не очень-то обычное направление "на практику" — в советское посольство в Австралии.

Русские считают, что само существование высшего класса в настоящее время все больше и больше напоминает дореволюционную Россию. Один инженер сказал мне, что предсказания Маркса относительно капиталистического общества, в котором якобы экономическая власть будет сосредотачиваться в руках все меньшего и меньшего числа людей, а разрыв между элитой и массами будет все увеличиваться, кажется, сбылись сегодня в Советском Союзе. Представители элиты проявляют сознание своей кастовой принадлежности во многих отношениях, причем это наблюдается во всех возрастах. Жена одного преуспевающего писателя сказала, что ее восьмилетний сын избегал приглашать к себе домой своих школьных товарищей и, только познакомившись с сыном известного генерала, сделал для него исключение. Мальчик объяснил свое поведение тем, что не хотел, чтобы другие видели, как он хорошо живет, но в генеральском сыне он почувствовал "подходящего гостя".

Кажется, существует неписанный закон, по которому представители верхушки, находящейся у власти, не могут продвинуть своих отпрысков поближе к командным постам в партии. Да и сами дети нынешних советских лидеров проявляют удивительно малую склонность к политической деятельности или необходимые для такой работы способности. Сын Громыко Анатолий — третий человек в посольстве СССР в Вашингтоне — является исключением, о котором стоит упомянуть. Зять Косыгина Джермен Гвишиани, ныне заместитель председателя всесильного Государственного комитета по науке и технике — тоже исключение из правила. Это ограниче-

ние в области передачи политической власти, которое временно исключает передачу по наследству государственных дач и других привилегий, связанных с занимаемыми должностями, используется русскими, в том числе марксистски настроенными диссидентами, как доказательство того, что на самом деле советское общество не породило нового привилегированного класса. "Класс характеризуется устойчивостью, стабильностью, — спорил со мной инакомыслящий биолог, марксист, Жорес Медведев. — До революции старая аристократия могла быть спокойна за свое положение. Теперь дело обстоит иначе. Сейчас никто не уверен в прочности своего положения и, лишаясь его, теряет все. Он не может передать своим детям ни своего положения, ни своих привилегий. Это — не то, что неотъемлемые права, получаемые по рождению".

Этот аргумент до некоторой степени верен, особенно в отношении политической власти или если проводить аналогию с одной только практикой наследования титулов, поместий и других атрибутов высокого положения дворянством царского времени. Но, обучая детей и внуков в самых престижных институтах, используя свое влияние для того, чтобы устроить их на работу и обеспечить продвижение по служебной лестнице в наиболее привилегированных учреждениях и организациях, политическая элита обеспечивает соответствующее общественное положение следующим двум поколениям своих семей. Кроме того, высокопоставленные папаши, работающие в области науки и культуры, имеют полную возможность передавать своим детям во владение свою собственность, например, дачи, квартиры, машины и деньги, а также обеспечить им пути к хорошей карьере и высокому общественному положению.

Таким образом, для советской элиты характерны не неустойчивость и ненадежность положения, а наоборот, его прочность и длительность пребывания на занимаемых постах. Одной из наиболее типичных тенденций брежневской эры является как раз чрезвычайная медлительность в отношении административных перемещений, благодаря которой теперь,

когда отпала угроза массовых сталинских чисток и непредсказуемых хрущевских реформ, государственная и партийная бюрократическая верхушка в большей степени, чем когда-либо в прошлом, укрепила свое положение.

Бесспорно справедливо мнение советских и западных специалистов, считающих, что советское начальство не представляет собой монолитной группы. Элита имеет своих консерваторов и своих новаторов, своих твердолобых из числа кагебистов, своих строгих идеологов и технократов, стремящихся к повышению эффективности промышленности и науки. Культурная элита тоже имеет своих консерваторов и либералов. Однако в брежневско-косыгинские годы, как только возникали открытые разногласия, руководство постоянно шло на спасительные компромиссы, чтобы устранить эти разногласия и сохранить единство. Таким образом, несмотря на возникающие трения, советская элита — это все же единое целое в своей лояльности по отношению к партии и номенклатурной системе, которые являются гарантией власти и привилегией ее членов.

Рядовым же советским гражданам в общем известно, что правящая верхушка и элита искусства и культуры ведут привилегированный образ жизни, но они не представляют себе, насколько велики эти привилегии, потому что пользование ими не только не демонстрируется, но тщательно скрывается, и частная жизнь представителей привилегированного класса не передается гласности. Кроме того, несмотря на все преимущества, которыми пользуется этот класс, он еще далеко не так образован, празден и пресыщен, как аристократия царского времени, описанная Пушкиным в "Евгении Онегине". Его представители еще не накопили таких богатств, как сказочно богатые купцы дореволюционной России, с роскошью которых соседствовала отчаянная нищета. Более того, обсуждать этот вопрос открыто для русских — дело рискованное, и даже тот, кто ворчит по этому поводу, осмеливается высказываться только в узком кругу. Как-то вечером одна пожилая женщина, проходя мимо молочного комбината, снабжающего, как известно многим, закрытые магазины для

элиты, с горечью воскликнула, обращаясь к моей жене Энн: "Мы ненавидим эти особые привилегии. Во время войны, когда они и вправду были нашими руководителями, это было правильно. Но не теперь". Светлана Аллилуева писала о кулачных боях и перебранках с некоторым оттенком классового антагонизма, возникавших между юными представителями элиты с жуковских дач и местными деревенскими мальчишками.

В Ташкенте я увидел однажды, как подошедший к очереди на такси военный высокого чина встал впереди всех и занял первую же подошедшую свободную машину; усталые люди бормотали проклятья, но не раздалось ни одного слова громкого протеста, и никто не сдвинулся с места, чтобы остановить наглеца. Рабочий, помогавший устанавливать кондиционеры воздуха и кухонное оборудование в квартирах высокопоставленных офицеров, с досадой рассказывал своему приятелю: "Чего у них только нет! За что же мы боролись во время революции?"

Самый поразительный случай проявления возмущения, с которым мне пришлось столкнуться, произошел на вечере, устроенном членом Политбюро и министром сельского хозяйства Дмитрием Полянским. Гости изрядно выпили, в том числе и жена одного очень известного поэта, удалившаяся в ванную комнату, чтобы привести себя в порядок. Вдруг гости услышали страшный шум. Это жена поэта разбивала флаконы французских духов госпожи Полянской — "Ланвен", "Скиапарелли", "Ворт" — и отчаянно ругалась. "Какое лицемерие! — кричала она, — считается, что это — рабочее государство, что все равны; вы только посмотрите на эти французские духи!"

Однако более типичной была бессильная злость, которую испытал один мой знакомый физик, когда узнал, куда исчезла драгоценная обезьянка из чистого янтаря, выставленная, разумеется, не для продажи в витрине магазина янтарных изделий в центре Москвы. Физик рассказывал, что он со своими приятелями вошел в магазин узнать, что случилось с обезьянкой.

— Мы ее продали, — ответила продавщица, не проявившая особого желания вступать в беседу.

— А мы думали, что она не продается, — заметил один из вошедших. Женщина беспомощно пожала плечами.

— Кто ее купил? — спросил кто-то.

— Дочь Брежнева, Галя, — сказала женщина, стремясь закончить разговор.

— Хорошо еще, что она не ходит за покупками в Эрмитаж, — прокомментировал кто-то из присутствующих, и они уныло, но безропотно вышли из магазина.

"РУССКАЯ МЫСЛЬ" "LAPENSEE Russe"

Еженедельная газета "Русская Мысль" публикует широкий и объективный обзор мировой и советской политики и жизни в разных странах, помещает статьи на религиозные, философские, научные и литературные темы, пишет о достижениях культуры в эмиграции, сообщает о выставках, спектаклях, новых книгах и журналах.

С началом третьей эмиграции из Советского Союза "Русская Мысль" открыла свои страницы новым авторам, стала связующим печатным органом между диссидентами и живыми силами эмиграции. Газета систематически публикует документы Самиздата и свидетельства новейших эмигрантов, давая тем самым богатый материал социологам и историкам разных стран, интересующимся проблемами прошлого, настоящего и будущего России и Советского Союза.

Выходя в Париже, "Русская Мысль" откликается и на самые яркие и интересные события в "городе-светоче".

"Русская Мысль" прибывает в Израиль авиапочтой. Цена в розничной продаже — 6 лир. Газета продается в магазинах русской книги и киосках страны.

ВПЕРВЫЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ *КНИГА ХЕДРИКА СМИТА "РУССКИЕ"*

Лауреат премии Пулицера Хедрик Смит более трех лет (с 1971 по 1974 годы) провел в Москве в качестве заведующего московским бюро газеты "Нью-Йорк Таймс". За этот короткий промежуток времени автор сумел увидеть, понять и необычайно ярко показать совершенно исключительное явление, называемое "советским человеком".

"Самый всеобъемлющий и правдивый рассказ о России из всех, опубликованных до настоящего времени. Это — важная и великолепная книга. Она захватывает своей свежестью и глубиной проникновения", — так отзывался об этой новой работе Смита *Милован ДЖИЛАС* в газете "Санди Таймс".

Книга объемом более 900 страниц издается в трех частях карманного формата.

Для приобретения всех трех частей книги следует направить банковский чек на сумму 25 долларов (или в любой другой валюте по курсу) в адрес фирмы STI, выпустившей эту книгу: P.O.B. 1154, Jerusalem, Israel.

Указанная сумма включает стоимость пересылки за границу. В Израиле стоимость книги — 390 лир.

ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ ОСКАРА РАБИНА

Вот несколько фактов и штрихов из биографии Рабина. Родился в Москве в 1928 году, рано осиротел, испытал войну, голод, лишения и одиночество.

Первые серьезные уроки получил от художника и поэта Евгения Леонидовича Кропивницкого, с которым познакомился в 1942 году. После трехлетней учебы у Кропивницкого Рабин поступает в Рижскую академию художеств, но, перейдя на четвертый курс, оставляет ее и возвращается к старому учителю.

Вскоре поселяется в Лианозове — в длинном, мрачном, многонаселенном бараке и в течение восьми лет работает грузчиком на железной дороге, используя каждую возможность для занятий живописью, — пишет пейзажи, этюды на пленере.

В середине пятидесятых годов отходит от природы и все большее удовлетворение получает от создания свободных фигуративных композиций.

В 1957 году, на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве, натюрморт Рабина отмечается почетным дипломом. Это было первое и последнее официальное признание.

Через год в фельетоне "Помойка № 8" газета "Московский комсомолец" обвиняет художника в искажении советской действительности, а после персональной выставки в Лондоне в 1965 году газета "Советская культура" "посвящает" ему подвал под заголовком "Дорогая цена чечевичной похлебки". Выставка объявляется провокационной, картины — спекулятивными, автор — продавшимся буржуазной пропаганде.

На самом же деле полотна Рабина, экспонированные в Лондоне, — это окружающая его действительность, спроецированная на холсты

особым видением художника. Скобобоченные бараки, скрюченные, словно в судороге, провода, кривые заборы, бредущие в никуда телеграфные столбы, горбатые крыши, на которых или высокомерно восседают, или шныряют черными призраками булгаковские коты. А на переднем плане, как олицетворение быта, торжествующе заполняя собой пространство, — бутылка водки, недоеденная селедка, консервные банки с уродливыми кактусами.

Этот период творчества Рабина характерен экспрессивностью линий и красок. Вся экспрессия — на поверхности и сливается то с беспощадной иронией, то с какой-то щемящей нежностью.

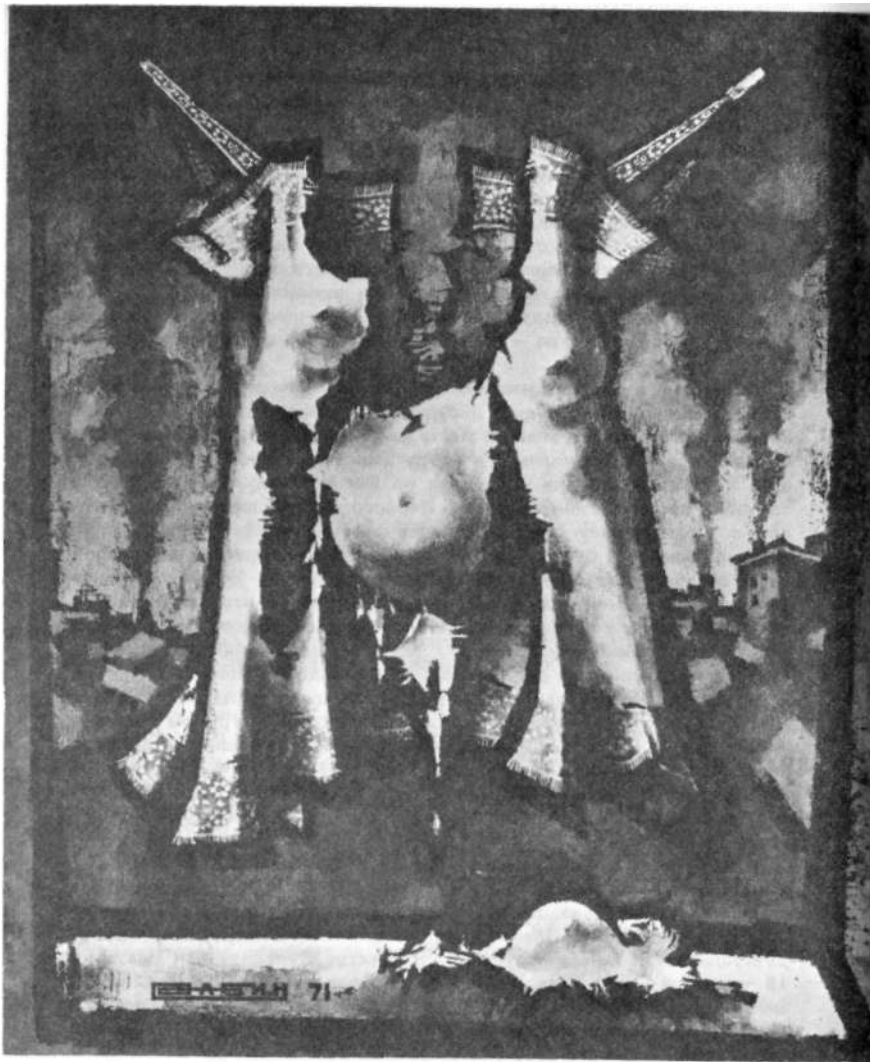
Поздний Рабин — строже и сдержанней. Экспрессия уходит вглубь. Краски тяжелеют. Яркие — голубые и красные — вовсе исчезают с полотен.

Всю жизнь художник изображает Россию, и чем дальше, тем с большей горечью, ибо его судьба и судьба русской культуры, да и самой России, оставляют все меньше места для нежности, и все больше — для боли. Она — и в отраженной в пруду церкви, которой нет в пейзаже, ибо, хотя храм здесь и разрушен, но Бог остался, и в разорванной багровой десятке с ликом Ильича Первого на фоне словно придавленной, со стелющимися дымами рабочей окраины, и в тревожных, будто пророчащих беду, букетах цветов, и в скорбной скрипке, за которой высются молчаливые обелиски. Бытовая символика, предметы, вынесенные на передний план и несущие в себе некую вторую функцию, дополнительную к основной, обыденной, а порой даже от нее отличную (типичный рабиновский прием), остается неизменно в арсенале средств художника, но становится с годами острее и колючей.

В начале семидесятих годов рождается цикл картин с газетами. Общипанная тощая курица — на "Советской России", грубые башмаки — на обрывке "Правды" и из-под них кричащий заголовок "К событиям в Чехословакии", натюрморт с "Правдой", на которой валяются селедка, бутылочные осколки, одинокая рюмка и четко прочтываются стереотипные заголовки: "Чувство локтя", "Вперед к расцвету во имя блага людей!"

В 1977 году власти решили избавиться от Рабина, они буквально выталкивают его из страны. Ему угрожают, и его уговаривают. Его сына, тоже художника, то грозят забрать в армию, то обвиняют в тунеядстве и тащут в суд. Власти не могут простить Рабину роль инициатора вошедшей в историю русского искусства Бульдозерной выставки 15 сентября 1974 года. Несмотря на травлю, Рабин отказывается эмигрировать. И лишь когда спустя год выезжает на Запад по гостевой визе, то режим, по словам художника, проявляет к нему "танковый гуманизм", лишая его советского гражданства.

Сейчас Рабин живет в Париже. Но, по-прежнему, во многих его картинах — образы Родины. Один из французских искусствоведов десять лет назад назвал Рабина Солженицыным в живописи. Каждое сравнение хромает. Но, как и у великого русского писателя, главная тема Рабина — Россия, и едва ли не в каждом, посвященном ей полотне, — любовь, ненависть и надежда.



Оскар Рабин. "Разорванная рубашка". 1971 г. Холст, масло.



Оскар Рабин. "Натюрморт с лампой и картами". 1974 г. Холст, масло.



Оскар Рабин.
"Завтрак на
луне". 1972 г.
Холст, масло.



Оскар Рабин.
"Автопортрет
в Париже"
1978 г.



Оскар Рабин.
"Дверь № 6".
Холст, масло.
1966 г.
Музей
современного
русского
искусства
в Монжероне.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Сергей ДОВЛАТОВ. См. журнал № 36.

Аркадий ЛЬВОВ. Писатель. Учился в Одесском университете. В 1946 году был исключен с мотивировкой: за клевету на советский народ и еврейский буржуазный национализм. Лишен был права продолжать учебу в высших учебных заведениях, в дальнейшем, однако, добился возможности закончить университет.

По окончании университета работал в средней школе преподавателем истории и русской литературы.

Опубликовал в СССР шесть книг, кроме того, в журналах, альманахах и газетах — более 200 рассказов, очерков, статей. Ряд рассказов переведен на английский, чешский, болгарский, польский языки.

Юлия ТРОЛЛЬ. Родилась в Москве, в актерской семье Михаила Куни. Училась в театральной студии при театре им. Маяковского. Окончила училище циркового и эстрадного искусства. Работала в Москонцерте, в театре им. Маяковского. В 1976 году эмигрировала в США.

Илья БОКШТЕЙН. См. журнал № 33.

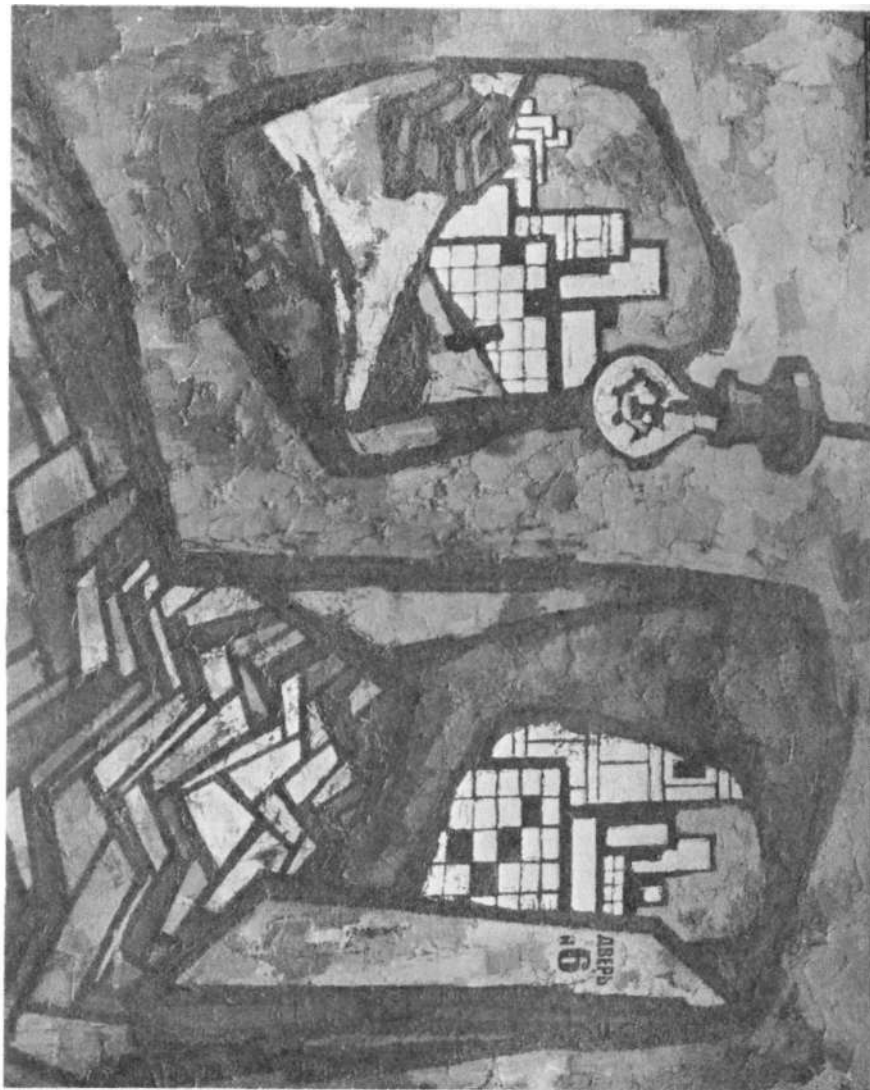
Андрей СЕДЫХ. См. журнал № 37.

Виктор ПОЛЬСКИЙ. Инженер-физик. Видный еврейский активист. Родился в 1930 году в Москве. Окончил Московский инженерно-физический институт. Работал в ряде московских научно-исследовательских институтов. Кандидат технических наук. Репатриировался в Израиль в 1974 году. В настоящее время заведует физической лабораторией на одном из предприятий страны.

Нафтали ПРАТ. (Анатолий Парташников). Историк философии и социально-политических учений. Родился в Киеве в 1935 году. С 1956 по 1960 год пребывал в Потьминских лагерях за "антисоветскую деятельность". В 1968 году окончил филологический факультет Киевского университета. В 1971 году репатриировался в Израиль. Подготовил диссертацию на соискание степени доктора философии в докторантуре Иерусалимского университета. Специализируется в области русской философии XIX — начала XX века. Опубликовал несколько работ, посвященных анализу советской философии, в разных периодических изданиях за границей.

Дора ШТУРМАН. См. журнал № 30.

В.С. ЯНОВСКИЙ. См. журнал № 37.



Оскар Рабин,
"Дверь № 6",
Холст, масло,
1966 г.
Музей
современного
русского
искусства
в Монжероне.

С 1 февраля 1979года устанавливаются следующие условия подписки в Израиле: цена годовой подписки (12 номеров) — 780 лир, полугодовой — 432 лиры. В подписную цену входит стоимость доставки и налог на дополнительную стоимость. Годовую подписку оплатить можно в 3 чека, полугодовую — в 2. В обоих случаях последний чек выписывается не позже, чем на март. Заказ и чеки высылать по адресу: ул. Нахмани, 62, Тель-Авив, или п.я. 24123, Тель-Авив.

Чеки можно выписывать по-русски. Прежние условия подписки отменяются.

За рубежом устанавливаются следующие подписные цены: В США и КАНАДЕ: на 6 месяцев - 24%, на 12мес. -48%. (авиапочта — 96).

ВО ФРАНЦИИ: на 6 месяцев - 99 F.FR., на 12 мес. - /9SF.FR. (авиапочта - 350).

В ГЕРМАНИИ: на 6 месяцев - DM 46 (авиапочта - 88) на 12 месяцев - DM 92 (авиапочта - 176).

Стоимость подписки установлена с учетом того обстоятельства, что "Время и мы" будет и в дальнейшем выпускаться как иллюстрированный литературно-публицистический журнал, выходящий каждый месяц, единственный журнал такого рода издаваемый на Западе.

Устанавливая новые условия подписки, редакция считает необходимым подчеркнуть, что введение новых цен в условиях существующего числа подписчиков и отсутствия субсидии со стороны государства является единственной возможной мерой для продолжения существования журнала. Со своей стороны мы сделаем все необходимое для того, чтобы еще выше поднять уровень журнала и сделать еще более интересным для читателя наше издание.

Редакция приносит глубокую благодарность следующим подписчикам, которые внесли свой вклад в Фонд друзей журнала "Время и мы": Камионской, Э. Москович, С. Фрумкину и С. Цитронблату.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ В ИЗРАИЛЕ:

Сроком на 6 месяцев — 432 лиры
на 12 месяцев — 780 лир

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ ЗА РУБЕЖОМ:

В США И КАНАДЕ

сроком на 6 месяцев — \$ 24
на 12 месяцев — \$ 48, авиапочта — 96

ВО ФРАНЦИИ

сроком на 6 месяцев — F.FR. 99
на 12 месяцев — F.FR. 198, авиапочта — 350

В ГЕРМАНИИ

сроком на 6 месяцев — DM 46
на 12 месяцев — DM 92, авиапочта — 176

"ВРЕМЯ И МЫ" - 1979 год

ПОДПИСКА В ИЗРАИЛЕ НА 1979 ГОД

Сроком на 6 месяцев
на 12 месяцев

Журнал высыпать с номера.....

Журнал высылать по адресу:.....

Приложен чек.....

Подпись..... Дата.....

* Чек выписывается на имя журнала "Время и мы" — можно по русски — и высылается по адресу:

P.O.B. 24123, Tel-Aviv или **62/9 Nachmani St., Tel-Aviv**

ПОДПИСКА ЗА ГРАНИЦЕЙ НА 1979 ГОД

Авиапочтой

сроком на 6 месяцев

Обыкновенной почтой

на 12 месяцев

Журнал высылать с номера.....

Журнал высылать по адресу:.....

Приложен чек.....

Подпись..... Дата.....

* Чек выписывается на имя журнала "Время и мы" — можно по-русски — и высылается по адресу: **P.O.B. 24123, Tel-Aviv, Israel** или **62/9 Nachmani St., Tel-Aviv**



В этом месяце у вас
окажутся дополнительные деньги
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАЙМЫ
«БРЕЙРА» ПОГАШАЮТСЯ

ПРЕВРАТИТЕ ПОЛУЧЕННЫЕ ДЕНЬГИ В ХОРОШИЕ ДЕНЬГИ

Запишитесь в одну из программ:

«Коах хай кифлаим»

«Коах Брейра

Одноразовый взнос

долларит»

Немедленный бонус в размере 10%
Проценты и прикрепление к индексу
цен основной суммы и бонуса
Все это не облагается налогами

Одноразовый взнос

Немедленный бонус в размере 6%
Проценты и прикрепление к индексу
цен основной суммы и бонуса
Все это не облагается налогами

Ежемесячные взносы

Ежемесячные взносы

Немедленный бонус в размере 5%
Проценты и прикрепление к индексу
цен основной суммы и бонуса
Все это не облагается налогами

Немедленный бонус в размере 3%
Проценты и прикрепление к индексу
цен основной суммы и бонуса
Все это не облагается налогами
В обоих случаях — прикрепление
к индексу цен или курсу доллара —
в зависимости от того, что более выгодно.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОДРОБНОСТИ — ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ БАНКА «ЛЕУМИ»,
БАНКА «ИГУД» И БАНКА «АРАВИ-ИСРАЭЛИ».



BANK LEUMI
LE-ISRAEL B.M.

Отвергнутые рукописи не возвращаются, и по поводу них редакция в переписку не вступает.

Издательство "Время и мы", Тель-Авив, ул. Нахмани, 62/9
п.я. 24123, Тель-Авив, 621085.
62/9 Nachmani st. T.-A. Tel. 621085.

Типография "Дерби". Улица Амавдиль, 6. Т.—А.

OCR и вычитка - Давид Титиевский, май 2010 г.
Библиотека Александра Белоусенко

**На четвертой странице обложки:
Оскар Рабий. Анжелюс 1978 г.**



D. Rabine 78